



ЕЛЕНА  
БЛАГОВА

•  
*Ночной  
карнавал*



ЦЕНТРОПОВИД

Елена Крюкова

**Ночной карнавал**

«Автор»

## **Крюкова Е. Н.**

Ночной карнавал / Е. Н. Крюкова — «Автор»,

Великолепная Мадлен полна радости, красоты и очарования. Нищая русская эмигрантка, она становится королевой парижского полусвета, и вся ее жизнь – фантастический карнавал, вихрь страстей посреди огромного, изумительно красивого города на чужбине. Втянутая в круг порока и шпионажа, блистательная ночная кокетка, похожая на женщин Тулуз-Лотрека, она внезапно встречает свою настоящую любовь. Это русский Великий Князь в изгнании. Ее знатного избранника группа заговорщиков пытается втащить в предательскую, смертельно опасную авантюру. Спасутся ли влюбленные от преследования? Вернутся ли на благословенную родину, или это останется их несбыточной мечтой?.. Мадлен слишком хорошо знает, что за любую удачу надо расплачиваться: телом, душой, деньгами, судьбой. А ночью прелестная Мадлен снова становится русской золотоволосой девочкой, снова видит жестокие картины кровавой революции, ужасы войны, свое несчастное бегство в чужую страну – и лишь одна безумная, непонятная фантазия преследует ее: ей, в ее бредовых снах, кажется, что она – Царская дочь...

© Крюкова Е. Н.

© Автор

## Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ. БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ	18
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПАВЛИНЬЕ ПЕРО	64
Конец ознакомительного фрагмента.	96

# Елена Крюкова (Благова)

## Ночной карнавал

### РОМАН

Я жила в Париже тяжело. Эмигрантам всегда тяжело. Особенно тем, кто приехал сюда из России. Русских в Париже пруд пруди; «Париж наполовину русский город», – вздыхая, говорил мне мой друг, священник храма Александра Невского на рю Дарю, отец Николай Тюльпанов. В отличие от потомков русских семей предыдущих волн эмиграции, накатывавших на Париж, начиная с 1917 года, кто не знал языка или почти забыл его, коверкая родные слова, я, приехавшая в Париж недавно, поддерживала себя в минуту горя и уныния русскими молитвами, русскими стихами, чтением русских книг, привезенных с собой; я страдала оттого, что мне часто не с кем было перемолвиться словом по-русски, всюду щебетали по-французски, как птички, французские консьержки, французские молочники, французские продавцы, французские ажаны. Я слонялась по Парижу одна, тоскуя, глядя на его красоты, ненужные мне.

Зачем я приехала сюда? Я убежала. Меня вынудили уехать. Я окончила Консерваторию в Москве по классу фортепиано и органа, с успехом давала концерты в городах России, аккомпанировала певцам, играла в камерных ансамблях. Меня ждало будущее музыканта, не особенно блестящее в стране, если ты не выбивался в люди на крупных международных конкурсах, но и с голоду мой музыкантский хлеб умереть бы мне не дал. На беду свою, я стала писать стихи. Эта сила была сильнее меня.

Я чувствовала поэзию; я училась у мастеров. Я писала смело, как хотела. Мои стихи расходились по Москве, Питеру, Нижнему, Екатеринбургу, Красноярску, Иркутску подпольно; их переписывали от руки; их читали шепотом, на кухнях, в маленьких залах – в подвалах, в заштатных кинотеатрах, в студенческих кафе, в затянутых кумачовыми полотнищами клубах. Мне не была нужна официозная слава в России. Мне было достаточно моей судьбы и того, что Бог дает мне силы писать то, что я хочу.

Не все коту Масленица. Людям, бывшим у власти в ту пору, мои стихи не приглянулись. Мои друзья с круглыми от страха глазами в тысячный раз рассказывали мне истории замученных и расстрелянных поэтов, печально известные каждому школьнику. Я, смеясь, отвечала им – аллаверды – историей из жизни Пушкина: когда к нему в Михайловское нагрянули слуги Бенкендорфа, чтобы изъять у него написанные им крамольные стихи, он успел сжечь все в печке, а на вопрос сыщиков: «Где же ваши рукописи, господин Пушкин?…» – поэт поднял руку, постучал пальцем по лбу и сказал: «Все здесь». «Здесь-то здесь, ты все сожжешь и восстановишь в три дня, – сокрушались мои друзья, – а вот выгонят тебя отсюда взащей!..»

Так оно и случилось.

Ко мне явились поздно ночью. Я не знала этих людей. Их было шестеро. Они сели за стол, говорили со мной спокойно. Мне предложили на выбор: или далекие северные лагеря, или срочный, в двадцать четыре часа, выезд из страны. Я похолодела. Думала недолго, несколько секунд. Выбрала второе.

Я хотела жить, и я хотела написать то, что мне было назначено Богом.

Друзья добыли мне денег на самолет; иностранный паспорт сделали мгновенно приспешники власть предержащих. Почему я выбрала для жизни Париж? Францию? Не знаю. Может быть, потому, что во Францию всегда уезжали все гонимые русские люди.

Так я оказалась в Париже. Когда самолет приземлился в аэропорту «Шарль де Голль», меня никто не встретил. Я была беженка, изгнанница. Я вынуждена была просить убежища. Во Франции очень жестокие законы для эмигрантов. Эта страна просеивает людей, сыплющихся в нее отовсюду, через мелкое сито. Я металась, бегала по Парижу, искала пристанище, прибе-

жище, работу, жилье, знакомства, денег в долг, опять жилье, если из прежнего выгонял хозяин за неуплату.

Я узнала, что такое настоящая бедность.

Это когда тебе совсем нечего есть, и ты не едешь, а идешь пешком, отмеряя многие километры, в предместье Парижа, и там, робко постучавшись к какой-нибудь французской хозяйке – а выбираешь домик победнее, чтоб свой понял своего, – просишь у нее на ломаном французском, похожим на попугайское карканье, немного хлеба, картошки и кусочек сала. Я сразу выучила эти слова: «хлеб», «вода», «картошка», «сало», «крупка», «мука», «масло». В этих словах была жизнь. Если хозяйка попадалась добрая, мне давалось и то, и другое, и третье. Если я нарывалась на злюку, мне не обламывалось ничего. Тогда я жестами показывала ей, что могу выполнить нужную работу – по дому, по саду, огороду. Я научилась копать землю, сажать овощи, и руки у меня были все в земле, и грязь под ногтями, неотмываемая.

В Париже я тоже искала работу. Находила – временную. Разносила газеты. Мыла полы в бистро. В парикмахерских. Однажды я нанялась развозить молоко, неуклюже разбила две бутылки с молоком, и меня тут же уволили. На Западе нельзя ничего делать плохо. Ошибешься – прощайся с работой. Рук и ртов в огромном городе много, работу уволенному трудно найти.

Я судорожно искала выхода. Что делать? Гибнуть?! Я была в Париже совсем одна. Друзей у меня не заводилось из-за незнания языка. В магазинах и булочных я общалась жестами, кивками, улыбками. Я донашивала одежду, в которой убежала из России. Слава Богу, мне повезло с жилищем – меня пустил жить к себе неприятельный старикан, одевавшийся в лохмотья, добытые у старьевщика, промышленявший бытием клошара, нищего под мостом Неф. Зимой и летом он сидел на решетках, под которыми текли теплые воды парижских подземелий. Из-под решеток поднимался горячий пар, моему старику было тепло. Он клал перед собой шапку, веселые парижане бросали туда монетки. Я вспоминала нищих в России. Все в мире было похоже. Только языки были разные.

Судьба привела меня в храм Александра Невского на рю Дарю. Благородный, добрый священник, отец Николай, приветил меня. Я для него была одной из сотен бедных эмигрантов, обивающих пороги родных церквей. В России я не отличалась особой набожностью. В существовании Бога у меня не было сомнений. Однако посты я не соблюдала, на службу ходила редко, и молилась лишь тогда, когда на меня обрушивались несчастья, следуя старой русской поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Здесь, в Париже, было все иначе. Русский храм не просто связывал нас с Россией. Он был нашим Русским Домом, нашим оплотом, нашим Ковчегом в Потопе, нашим свергнутым и восстановленным Троном, настоящим Престолом Божьим и Святой Руси. Только в Париже я впрямую ощутила, что Русь – Святая. На родине мне это и в голову не приходило. Что имеем, не храним; потерявши – плачем.

Отец Николай, маленький, похожий на колобка, бородастый батюшка, словно переносил меня из парижской сутолоки и ужаса нищеты в старую Русь. Он водил меня по храму, рассказывал про древние образа, драгоценности Царского Дома, приключения, благодаря которым реликвии попали сюда, на улицу Дарю. Он поил меня чаем в доме рядом с храмом, раскладывал по столу бутерброды с салями, с прованской ветчиной. Я глядела на роскошь еды испуганными глазами. Я давно не ела мяса. Отец Николай совал бутерброд мне в руку: ешь, не стесняйся, сейчас же нет Поста, разрешено. А в Пост рыбку тебе дам.

Я ела и плакала. Слезы сами текли по щекам. Священник крестил меня, шептал: да воскреснет Бог и расточатся врази Его.

Он, отец Николай, и пригласил меня однажды на вечер русских эмигрантов в этом самом небольшом домике близ храма, где он устраивал чаепития для бедняков. Сначала отстояли службу. Был февраль, Сретенье, и мела метель, редкая птица в Париже в это время года. И на старуху бывает проруха. Зима в том году выдалась холодная. Парижане шутили: полюс идет на нас войной. По слухам, подобные морозы и снега царили над Парижем то ли в двадцатые, то

ли в тридцатые годы – я не очень поняла из перешептываний публики, почтительно стоявшей, склонив головы, и седые и молодые, в храме на Литургии.

Пели Литургию святого Иоанна Златоуста. Рахманинов... я знала эту музыку еще по Консерватории. Я стояла поодаль, почти у выхода – народу было много. Вдыхала, сквозь духоту и запах тонких парижских духов, ароматы ладана, курений, возносящихся из кадила в руках отца Николая. Вокруг меня стояли и молились русские люди. Я тайком оглядывалась. Все это эмигранты, их дети, их внуки, их правнуки. Старух и стариков первой волны эмиграции привезли на Литургию в креслах на колесах – они уже не могли ходить. Я, кося глазами, видела рядом с собой гордую, всю седую, серебряную старуху, ее профиль мерцал в свете свечей, она медленно подносила высохшую, еще красивую руку ко лбу и крестилась так, будто возлагала себе на голову корону. Графиня?... Княгиня?... Отец Николай шепнул мне, что на службе и на вечере будет много старых русских аристократов, потомков знаменитейших фамилий России. Я гадала, кто могла быть эта старая дама. Княгиня Васильчикова?... Нарышкина?... Голицына?... Иловайская?... Оболенская?... Шаховская?... На ее руке, когда она поднимала ее ко лбу, просверкивали два драгоценных камня – изумрудный, гладко обточенный кабошон и звездчатый сапфир. Камни были заключены в золотые оправы, потемневшие от старости. Фамильные драгоценности. Сколько же они пережили всего... вместе с ней.

Рядом со мной стояли и молились молодые люди. Это от них пахло хорошими духами. Многие были бедно, но чисто одеты. Кое-кто щеголял в богатых нарядах. Потомки русских. Внуки тех, бежавших первыми от революции. Дети от смешанных браков, вполнину французы, забывшие язык. Единственное, что их связывает с Россией, – это вера, православие. Они не забывают веру отцов и дедов. Приходят сюда, на рю Дарю. Молятся. Шепчут косноязычно: «Богородица, Дева...» La Mère... Мать. Россия нам всем мать. А кому и мачеха. Но молитесь за нее, как за мать, всегда.

Литургия текла печальной рекой, отец Николай шествовал в золотой ризе к алтарю, дьякон держал потир с причастием, помогая причастить паству, и, когда мне отец Николай всунул в рот витую серебряную ложечку со Святыми Дарами – хлебом, размоченным в кагоре, – я проглотила Дары и вдруг заплакала, неизвестно отчего. Только потом, позднее, я поняла: это были первые слезы умиления и смирения перед судьбой, ощущение себя одной из малых сих, из затерянных в бедности и нищете возлюбленных дочерей Господних.

– Бог поможет тебе, – шепнул мне отец Николай, причащая меня, пока дьякон утирал мне рот красной тряпицей. Я вспомнила красный кумач родины, полотнища и флаги, мотавшиеся на ветру на всех парадах. – Бог милостив, Елена.

Служба закончилась. Прихожан пригласили на трапезу в домик. Все с удовольствием, оживившись после строгого стояния в церкви, весело болтая, щебеча, проществовали туда. Были накрыты длинные столы, стоявшие каре. Крахмальные скатерти снегово белели – отец Николай постарался. Скромные приборы перед каждым, родное русское угощение – винегрет, расстегаи с мясом, холодец, блины. Там и сям в блюдечках красными горками возвышалась икра. Я глядела на пиршество богов, чуть не падая в обморок от голода. Да это просто праздник. Ну да, сегодня же праздник – Сретенье. Что произошло в этот день тогда, давным-давно? ... Ах, да. Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, и его принял на руки старец Симеон, и сказал: «Наконец-то я увидел Тебя, Бог мой, я дождался чуда, я держу Тебя на руках. Теперь можно и умереть». Может, он совсем не так сказал... я не помнила.

Перед нами стояли и бокалы – какая же Франция без вина? Да и какая Россия без выпивки?... Мужчины галантно ухаживали за дамами, разливая вино. Рядом со мной оказалась та самая горделивая старая дама, сидевшая в кресле в церкви. За столом она тоже сидела в инвалидном кресле на колесах, а не на скамейках, как все, и я поняла, что ни вставать, ни ходить она уже не может. Бедная. Может быть, у нее нет ног. Под длинной пышной юбкой не увидишь ничего; может, там протезы. А может, она парализована. На ней была надета кофточка

из тончайшего, кружевного батиста, отделанная креп-жоржетовыми воланами, почти прозрачная. Кружевное белье просвечивало сквозь кофточку, сияя безупречностью и белизной. Ее высохшая, маленькая грудь... видны, сквозь батист, родинки на груди... И что-то темное, грубое бугрилось под кружевами... шрамы, что ли?... Она заметила мой взгляд, вздрогнула и вскинула голову. Но головы ко мне не повернула.

Я украдкой глядела, как она ест. Великосветские манеры. Вилку, нож держит изящно, чуть отставив мизинец. Отправляет кусочки в рот достойно. Незаметно, как жует. А еда исчезала с тарелок мгновенно. Возможно, она была голодна, так же, как и я. Упитанностью старуха не отличалась, скорее худобой. Но статья! Но гордая повадка! Ясно, Великая Княгиня, не иначе. А кто же еще?! Сердце мое замерло. Я впервые в жизни сидела рядом с Великой Княгиней. Да еще и ужинала. Кусок застрял у меня в горле, и я чуть не подавилась от волнения.

– Берите, берите блины с икрой, милочка, – внезапно услышала я над своим ухом хриплый, прокуренный старческий голос, – не стесняйтесь. Где вы еще этак-то поедите в нашем развратном Париже.

Я, вспыхнув, подцепила на вилку два блина, неловко уронила их на скатерть. Старуха улыбнулась. Ни тени смущения не отразилось на ее покрытом сетью мелких морщин, красивом лице. Она взяла блины прямо руками и шлепнула их мне на тарелку.

– Ешьте, детка, и плюньте на них на всех, – повела она взглядом вокруг. – Эта публика – дура. Она и продаст, не заметит. Я знаю их всех как облупленных. Этот Париж, вертеп, всех сгреб под одно крыло. Приютит.

Ее русская речь была великолепна. Чистый, ясный, без шепелявости и картавости, без чужестранного акцента, старый русский говор. Московский?... Петербургский?... Московский, скорее. «Великий» она произнесла как «великой».

Я послушно ела, с красным от смущенья лицом, уткнувшись в тарелку. Отец Николай произнес речь про вечную Россию, землю Божью. Встал, поднял бокал над опустошенным столом. Все съели, а вина еще было много.

– За нашу родную матушку землю! – Он, слегка хмельной, прослезился. Глаза людей за столом тоже увлажнились. Кто-то откровенно, не стыдясь, заплакал, чуть ли не в голос, уронив лицо в ладони. – За единую и неделимую Россию! За ее возрождение! За то, дорогие мои, родные... – слезы задушили его, – чтобы мы вновь увидели на русском троне великого, самодержавного правителя, монарха, Царя всея Руси! Ура!

– Ура-а-а-а!.. – раскатилось над столами. Эмигранты вскакивали, поднимали бокалы, чокались, плакали, целовались, обнимались. Островок Руси в море чужбины. Господи, при чем тут Царь. Красивая сказка для малых детей. Его же никогда в России больше не будет. А эти люди, что они, спятили, смотрят назад, а не вперед. Господи, как же они все одиноки.

Как же одинока я, Господи. И бедна.

Что придумать?! Что сделать?!

Знатная старуха, сидевшая рядом со мной, подняла свой бокал и протянула мне, чтобы чокнуться. Мы прозвенели застольным хрусталем, и звон истаял в общем гомоне и гаме.

– За Россию, – пробормотала я, чокаясь с аристократкой.

– За вас! – неожиданно сказала она и выпила бокал до дна. Поморщилась. – Кислое вино. А я люблю сладкое. Не мог Тюльпанов сладкого у благотворителей заказать. Вы удивились, что я выпила за вас?

– Разумеется, да, – кивнула я головой. – Вы же меня не знаете. Кто я такая для вас?

Старуха пронзительно поглядела на меня из-под серебряного шлема кудрявых седых волос. Ее взгляд оценивал. Исследовал. Проникал в меня. Изучал.

В один миг она поняла про меня больше, чем я сама за годы моей нищенской жизни в Париже.

Я не могла оторвать взгляда от ее старческой груди под батистовой кофточкой. Сверканье золотого фамильного крестика с мелкими каплями алмазов не заслоняло теперь от меня страшные шрамы, глядящие сквозь паутинную ткань. Война... революция... может быть, пытки... выстрелы... скорей всего, ее расстреливали, и она чудом спаслась... Моя подруга в России, врач, показывала мне однажды медицинский альбом: такие шрамы бывают, когда хирург вынимает глубоко засевшие в теле пули. Бедняга. Туго ей в те баснословные годы пришлось.

– Вы пишете? – вперила она в меня копыеносные глаза. Когда-то они были синими. Сейчас... трудно было определить их цвет. Если бы я была художницей и писала ее портрет, я зачерпнула бы кистью с палитры немного зеленого, смешала чуть с белилами, добавила бы венецианской лазури и разбавила бы мазком охры. Райки выцвели. Выжглись Солнцем чужбины. Вымерзли на скитальческих морозах.

– Смотря что? – Разговор начинал меня интересовать.

– Мне не нужна секретарша. Я спрашиваю о другом. У меня чутье. Вы пишете belle lettre? ... Стихи, прозу?...

– Да, а как вы догадались?

Я была изумлена. Неужели на моем лице это написано? Старуха искусный физиономист. Или пишущий человек уже настолько сумасшедший, что его в толпе сразу заметно.

– Это нетрудно. У вас глаза такие... романтичные. Несмотря на голодуху и жуткую нищету, в которой вы здесь живете. И на среднем пальце... вот здесь, – она взяла меня за руку, и я вздрогнула как от ожога – горячая, огненная была у нее рука, – такая характерная шишечка. Вздутие. Мозоль от ручки, от карандаша. Это бывает только у тех, кто много пишет. И что ж? ... Все в стол?...

– Да. Здесь, в Париже, – в стол, – потупилась я. – Кому во Франции нужен русский поэт?

– Ах, стихи... да, да, – старуха покачала головой. – Неистребимая романтика. Вздохи, слезы... лунная дорожка по воде морского залива...

Я выпрямилась, сдерживая легкую обиду.

– Не лунная дорожка, – сказала я твердо, глядя старухе прямо в глаза. – За мои стихи меня выслали из России. Меня ждала гибель в тюрьмах...

– ...или гибель в Париже, – dokonчила старуха. – Вы выбрали последнее.

– Именно.

– И это было правильно. Вы удрали от властей. Вы спасли себе жизнь. А значит, и вашим стихам. И вашим будущим детям. Вы ведь еще так молоды. – Она вздохнула завистливо. – Вы выйдете здесь замуж. И ваши детки уже станут французиками. И им на дух не будут нужны ваши стишки.

– Не совсем спасла, – улыбнулась я невесело. – Такая жизнь, которую я тут живу... я совсем не думала, что мой Париж, так любимый по книгам, окажется такой...

– ...сволочной. Все так думают. Мы, русские, думаем, что Франция – страна любви и счастья. Ан нет. Не тут-то было. Французский кнут дерет сильнее русского.

– Это я уже знаю.

– Хотите разбогатеть?

Вопрос был задан в лоб, с разбегу. Я растерялась. И поначалу ничего не поняла.

– В каком смысле?

Старуха помолчала. Искося взглянула на меня, и тут я увидела, какие озорные и молодые у нее глаза.

Она взяла бокал, налила в него остаток белого вина из бутылки и отпила глоток. Перстни на ее пальцах сверкнули и погасли.

Отец Николай уже начинал провожать съевших все до крошки гостей. Желал им по-русски доброго пути, доброго здравия, долгих лет жизни. Крестил любимцев. Целовал приведен-

ных на праздник детей в щечку. Моя старуха смотрела на меня сквозь вино в бокале, прищурясь.

– Ну что ж, давайте знакомиться. Госпожа Иловайская-Романова, – сказал она и протянула мне руку. Я опешила: не знала, то ли мне пожимать руку, то ли целовать, то ли вообще вскакивать со скамейки и кланяться знатной барыне в пояс. – Можно просто – мадам Мари. Так будет проще для нас обеих.

– Меня тоже можно просто – Елена.

– Значит, Элен. Превосходно. Хотите написать книгу? Роман? Издать его в одном из лучших издательских домов Парижа? У Галлимар? У Фламариона? В «Глобе»? У меня есть выходы на всех. За этим дело не станет. И разбогатеть? И стать знаменитой?

– Знаменитой... Я об этом не думала, мадам Мари. Я слишком тяжело живу.

– Тот, кто тяжело живет, должен думать об успехе в первую очередь. И вы, клянусь, думали. Только ни мне, ни себе не хотите в этом признаваться.

Я вспыхнула.

– Я бы дорого дала, если бы мне удалось вырваться из нищеты! Помогите мне, мадам Мари!

– Я и хочу вам это предложить. У вас смышенное лицо. Если вы окажетесь умницей, вы можете далеко пойти.

– О чем... – я запнулась. – О чем должна быть, по-вашему, книга, обреченная на успех?

Старуха пристально, орлиным взором поглядела на меня. В ее взгляде я прочитала ласковую насмешку, мгновенное воспоминание того, что вспоминать не под силу простому смертному, оценку моего простого вопроса; она словно оглядывала ту жизнь, что прожила, чтобы выхватить из нее памятью самый яркий эпизод. А может быть, она совсем не хотела, чтобы я писала роман из ее жизни? Может, она хочет предложить мне фантастическую выдумку? Love story? Жесткий детектив?

Она раскрыла сумочку, лежащую у нее на коленях.

– Вот мой адрес, – сказала она, протягивая мне визитку. – Рю Санкт-Петербург. Вы ведь уже отлично изучили Париж, неприкаянно бродя по нему взад-вперед? Я жду вас, Элен, завтра в полдень. Начнем работать. А после пообедаем вместе.

– Ну что вы, – сказала я, и снова предательская краска залила мои щеки. – Я приду к вам не голодная.

– Рассказывайте сказки, – махнула старуха рукой. – Продержитесь только до завтра, хорошо? У вас появилась в Париже перспектива.

Она подмигнула мне, взялась за ручки кресла, дернула их и, развернувшись, покатила прочь из обезлюдевшего зала.

На следующий день я явилась к мадам Мари ровно в полдень. Мои русские наряды все поистрепались, и я долго вертелась перед зеркалом, прибрасывая к себе то шарфик, то ленточку – в попытке расцветить бедняцкую серость изношенных платьев. Что за книгу она задумала написать моими руками? Не авантюра ли это? Если авантюра, тем лучше. Я жила такой тусклой жизнью, что мне смертельно хотелось связаться в Париже в историю.

Мне открыл слуга, пожилой лакей. Старуха приветствовала меня, сидя в неизменном кресле. В руках она держала чашку с дымящимся глинтвейном.

– Вы любите глинтвейн, Элен? – с ходу спросила она. – Базиль, принесите, прошу вас, глинтвейну моей подруге.

– Вы называете меня подругой?... Мне неловко...

– Ах, вам неловко? – Старуха рассмеялась. – Да кто же такие люди друг другу на земле, как не друзья... и не враги? Или друзья, или враги. Третьего не дано. Так устроена наша жизнь, Элен. Сегодня мы с вами дружны. И позвольте мне делать то, что я хочу. Я – владелица своего

«я». Мое «я» говорит мне, что мы с вами подруги. Дело же не в возрасте. Как вы думаете, сколько мне лет?

Я замялась.

– Я и сама не знаю. Иногда ночью проснусь, погляжу в зеркало. А оттуда на меня глянет красавица. Глаза... волосы... свежесть... Я и зеркало руками потрогаю. И себя ущипну. Все наяву. Щеки, брови... лягу, радостная, потрясенная счастьем, спать. А наутро встану – опять ужас жизни.

«Сумасшедшая, – подумала я опасливо. – Зачем я сюда пришла?»

В то же время меня разбирало любопытство: что она расскажет мне? Смогу ли я, литератор, профессионал, написать – первый раз в жизни – художественный текст по чужим, чуждым мне рассказам? И вообще, как сложатся наши отношения? Может быть, она будет мне... платить за работу?... Я ведь все-таки буду при ней и стенографистка, и машинистка, и сочинитель, и редактор, и корректор...

– Садитесь ко мне ближе, – повелительно сказала старуха. – Начнем, пожалуй! Эта история... – она взяла со стола пахитоску, зажигалку, раскурила, – не моя. Это история моей подруги. Она была красотка и шлюха. Ну да, шлюха. Вы же видели парижских шлюх?

Я кивнула.

– А сами... не подумывали взяться, из нищеты, за это древнее ремесло?

– Пока нет.

– Мне нравится ваше «пока». Оно говорит о многом. Прежде всего о том, что вы умны. Я не ошиблась в вас. – Ее глаза продолжали меня расстреливать. – Итак, записная книжка при вас, ручка тоже, вы пожираете меня глазами. Мадлен! Ее звали Мадлен! Она была потрясающая шлюха. Лучше не бывает. Весь Париж, и великосветский, и трущобный, был у ее ног. Вы, Элен, не знаете, что такое, когда все – у ваших ног?

– Откуда мне знать.

– А я это знаю. И Мадлен это знала! И она была не простая шлюха. Не банальная куртизанка одного из борделей, в изобилии рассыпанных по Парижу, как зерна для голубей. У нее было загадочное происхождение. Вообще, Элен, вся эта история пахнет легендой... вымыслом. Я не знала... – мадам глубоко затянулась, – верить ей или нет. Жизнь ее проходила на моих глазах, но ведь у нее за плечами был еще изрядный кусок жизни, недоступный моему зрению. И то, что я узнавала от нее, повергало меня в трепет. Мы все, эмигранты тех баснословных лет, жили в Париже жизнью не менее тяжелой, чем сейчас вы, молодые. А у Мадлен была вся изломанная судьба. Она была шпионкой.

– Шпионкой?... – Я записывала быстро, старательно.

– Ну да. Этаким Мата Хари. Вы знаете о том, что Джульетта Гвиччарди, та самая, которой Бетховен посвятил «Лунную сонату», тоже была шпионкой?... Крупной международной авантюристкой?...

– Знаю. Я музыкант. Я еще помню консерваторские лекции.

– Вы нецензурны, Элен. Так вот, о происхождении Мадлен и о появлении ее в Париже ходили легенды и слухи... и я вынуждена была верить им. Иначе бы эта женщина перестала верить мне. Мы были два близких сердца. Мы были две сердечных подруги. Мы были одно.

– Одно?... – Перо дрогнуло в моей руке.

Старуха курила пахитоску. Глаза ее блуждали по гардинам, по старинным фотографиям, развешанным по стенам комнаты, по пюпитру рояля, где в беспорядке были навалены старые ноты. Она пребывала сейчас далеко от меня.

– О Боже... – прошептала она, и глаза ее наполнились слезами... – Мадлен... Зачем ты не послушалась меня тогда... зачем я так любила тебя...

Она протянула руку с пахитоской, стряхивая пепел в медную позеленелую пепельницу, и я увидела, как косой солнечный луч, ударивший в окно, высветил у нее на безымянном пальце железное обручальное кольцо.

– Зачем ты условилась с Князем встретиться на балу у герцога Феррарского... лучше было назначить свидание сразу на вокзале Сен-Лазар... под часами...

– Мадам Мари, – я осторожно потрогала ее за руку, она вздрогнула и очнулась. – Расскажите мне все с самого начала. Кто эта Мадлен? Как она жила в Париже? В какие истории она попадала?

– В невероятные, – сказала старуха твердо, овладев собой. Пелена забытья и слез исчезла с ее глаз. Она выпрямилась в кресле, загасила пахитоску и обернула ко мне лицо.

– Записывайте! В те годы Париж кишел заговорами, как тараканами. Мир делился, кроился, рвался на части. Мадлен, как женщину редкой красоты, недюжинной сообразительности и быстрой реакции, завербовал к себе на шпионскую работу некий барон Черкасов, связанный напрямую с крупной денежной европейской мафией, с масонскими ложами... и, это открылось позднее, с профашистскими группировками. Мадлен выполняла все поручения барона, и он ей хорошо платил. По сути, он выкупил ее из одного знаменитого парижского борделя, который содержала мадам Луиза Краузе, немка по происхождению. В Париже трудно тогда было встретить чистокровного француза. Немцы валили во Францию валом – спасались от надвигающейся коричневой чумы. Итальянцы, марокканцы, алжирцы... испанцы, бегущие от ужасов войны... русские... сами знаете, сколько их было в Париже в те поры, после революции... кишмя кишели... негры... албанцы... этакая дружба народов, столица мира... И Мадлен, чтобы вырваться из тисков жизни в борделе, вынуждена была принять условия игры барона...

Я записывала стремительно. Старуха рассказывала сначала холодно, мерно, раздумчиво, щадя меня, чтобы я успевала писать; потом все более увлеченно, горячо, страстно. За окнами темнело. Перо мое летало по бумаге. Я погружалась в чужую невероятную жизнь, полную любви, ненависти, убийств, чудесных спасений, слепящей красоты, бульварной пошлости, героической отваги. Вот он, живой роман! И сочинять не надо! Он вырисовывался передо мной, вставал, как башня Вавилонская, как огромный царский дворец, сияющий окнами, люстрами, шпилями, скульптурами в нишах. Какие жизни проходили, взрывались, сгорали и умирали! Уходили навсегда! Ведь если бы меня не сослали в Париж, я никогда бы не узнала эту историю, этих людей, борьбу света и тьмы в живых когда-то, страстных душах. Я дрожала от возбуждения, пот выступил у меня на висках, я продолжала записывать за мадам Мари, курившей одну пахитоску за другой, хрипло говорящей – за всех персонажей, то вскрикивающей, то опускавшей голос до шепота. На улице стемнело. Наступил февральский парижский вечер. За окнами мела легкая метель.

Мадам остановилась, откинулась на спинку кресла. Вцепилась руками в поручни.

Я подняла глаза от записной книжки. В темноте я плохо различала буквы, царапала наудачу.

Я увидела, как побледнело ее лицо.

– Элен, – позвала она слабым, тающим голосом. – Как вы думаете, который час?... Я утомила вас. Не пора ли нам пообедать... верней, уже поужинать?... Не уходите от меня. Развлеките старуху.

– Что вы! – вскричала я и пожала ее прохладную высохшую, пахнущую табаком лапку. – Разве я вас брошу вот так!.. Встану и убегу... Конечно, нет. Давайте я помогу накрыть на стол... принесу посуду, что-то из еды... где это все у вас?...

– Не трудитесь, – слабо улыбнулась она, – Базиль все сделает, скажите ему. Я побуду одна, пока вы с ним хлопчете. Пусть все принесет сюда на подносе. Он знает. Ступайте.

Я выбежала в прихожую и позвала лакея. Мы отправились вместе на кухню, я помогала старику резать сыр, ревеня, заваривать кофе, жарить яичницу – готовить постине царские блюда.

Когда мы, с подносами, с плетеной хлебницей, полной хлеба, вошли в комнату и зажгли свет, мадам уже спала. Ее голова была откинута на никелевый ободок спинки кресла, с которым она срослась, которое ненавидела. Рука лежала в складках юбки. В пальцах торчала потухшая пахитоска. Железное кольцо тускло светило в полумраке.

Я приходила к мадам Мари каждый день и записывала за ней все ее рассказы. Мы работали подолгу. Она сама увлеклась, загорелась. Радостно встречала меня. Спрашивала: «Ну, как там двигается наше искусство?...» Дома, у старикашки, я действительно занималась «искусством» – превращала поток воспоминаний, рассказанный мне с высокой степенью доверия, так странно и неожиданно, в настоящие романские главы, увязывая воедино разрозненные события, разбросанные во времени положения, явь и сны, бредовые видения и жесткую, жесткую реальность. Я писала роман от отчаяния, и, честно сказать, без надежды издать. Ни в какие рассказы мадам Мари о знакомствах в громких парижских издательствах я не верила. Она была слишком стара для того, чтобы поддерживать прежние связи в интеллектуальном мире Парижа, а люди, знавшие ее когда-то, наверняка забыли ее. Я писала этот роман, утешая ее, поддерживая, заслоняя ее от близкой смерти свеженаписанными страницами, так, как воробья заслоняет воробьянка от зубов страшной кошки. И я говорила себе: пиши, Елена, пиши, это зачтется тебе – на этом ли, на том свете, все равно.

За время писания романа я крепко привязалась к мадам. Она все время старалась накормить меня, и я сильно смущалась, ведь не в еде был смысл моих к ней приходов, хотя я, вечно голодная, приучилась не отказываться, если тебя угощают, и пообвыкла обедать и ужинать с мадам вдвоем. Базиля на трапезу никогда не приглашали. «Он ест у себя в каморке, – отмахивалась мадам. – Он нелюдим. Я не настаиваю.»

Я читала ей вслух все беловые тексты. Она слушала внимательно. То улыбалась. То хмурилась. То нервно закуривала. То блаженно закрывала глаза. Она снова переживала жизнь, знакомую только ей, а я была лишь ее орудием, лишь инструментом, призванным сработать книгу.

Кроме всего прочего, мадам давала мне денег. «Работа есть работа, – сказала она безапелляционно. – Вы работаете – вы должны получать за работу. Надеюсь, в России еще не отменили этот закон? Тем более во Франции. Считайте, что это ваша маленькая служба». И улыбнулась мне молодой улыбкой.

Денег было немного. Ровно столько, сколько надо было, чтобы продержаться в брюхе такого прожорливого чудика, как Париж. Я была благодарна мадам и за это.

Что стало бы со мной, если бы не было мадам? Я часто задавала себе этот вопрос. Ни я, ни Париж, ни мои редкие друзья из родного мира эмигрантской нищеты и бедноты не могли дать на него ответа.

Наступил момент, когда я поставила точку в последней главе. Это произошло у меня дома, в моем тесном закутке, в отсутствие моего старикана: он ушел на набережную Сены кланчить милостыню, как всегда. В иные дни старичок приносил в шляпе горсть монет и бумажек. В иные – ни сантима, чаще всего в дождливую погоду. Парижане всегда бегут, спешат. Особенно под дождем.

Я сидела под лампой, в комнате было прохладно, я грела о лампу руки и тупо глядела на последнюю фразу романа, вышедшую из-под моего пера. Это было все. И что? Теперь надо сказать мадам Мари adieu? Грустно. Все закончится. И наша дружба, и история Мадлен, к которой я успела привыкнуть и которую видела подчас так ясно, будто бы сама знала ее и беседовала с ней; и наши совместные обеды, и смех, и воспоминания о России, и куренье

смешных длинных пахитосок, и... деньги. Деньги. Да, мой заработок. Откуда я теперь возьму деньги на жизнь? Меня обдало холодом. Опять поиски работы, бестолковые, мучительные, изнуряющие. А по нахождении – бездарный, монотонный, грязный труд – мытье посуды в кафе, мытье окон и лестниц в магазинах и туалетах. Роман? Он лежал передо мной, светясь изнутри, сверкая золотом ушедших жизней. Кому он нужен? Я не верила, что его издадут. Во-первых, я писала по-русски, и надо было еще найти переводчика на французский, чтоб роман смог пробежать глазами издатель-француз, и, разумеется, заплатить ему. А во-вторых, я просто не верила, и все. Мне казалось это волшебным, несбыточным сном. Лишь во сне я открывала свою книгу, гладила переплет, нюхала страницы, оттиснутые свежей типографской краской... У меня и в России никогда не было книги. Мои стихи народ переписывал с рукописей. Вот и еще одна рукопись готова.

Только как теперь я буду жить, я не знала.

Я уронила голову на руки. Лампа светила мне в затылок, грела. Под моим лицом шуршали бесполезные бумаги, исписанные мной. И тут в дверь постучали.

Мой старик никогда не стучал – он открывал своим ключом. Я подошла к двери, распахнула ее. На пороге, вся вымокшая, отжимая волосы, стряхивая мокрый снег с плаща, стояла моя подруга, тоже русская эмигрантка, Люська. Она радостно сверкнула в меня большими подкрашенными черными глазами из-под фривольной, а la Lisa Minelli, челочки, обрадовавшись, что я дома.

– Я увидела свет в окне и сразу ринулась к тебе, – говорила она весело, бросая небрежным жестом шикарный плащ на меху на безногое кресло, добытое моим стариканом у старьевщика. Я воззрилась на новую, невиданную вещь.

– Привет, Люська, – я поцеловала ее и кивнула головой на плащ. – Откуда такая непозволительная роскошь? Или ты ограбила банк?

Я знала, что Люська жила порой еще беднее меня. Она влачила существование, перебиваясь по-разному: то подпрыгивая нянечкой в многодетных семьях предместий, то подметая конторы, то продавая круассаны и соки на больших сборищах – фестивалях, конкурсах, состязаниях. Она даже завидовала мне, что мадам наняла меня строчить роман. «Счастливая ты, – вздыхала она. – А я вот писать не умею. Только стирать и убираться». Люська приехала в Париж по глупости. По глупости и осталась. Ей не нужны были ни его красоты, ни его история, она мечтала о жизни на Западе, и она ее получила. Мечты не совпадали с действительностью.

Но такой воодушевленной я видела Люську впервые. И богато одетой.

Я перевела взгляд на ее сапоги. Ого! От Андрэ. Лучшая обувная фирма Парижа.

– Просто-напросто купила, котик, – пожала плечами Люська.

– На что? – Мой вопрос прозвучал глупо.

– На деньги.

– Откуда они у тебя?

Я рада была бы не задавать глупых вопросов, но они сыпались один за другим.

И Люська мне все рассказала.

Оказывается, она все-таки переступила ту грань, которая отделяет просто женщину от женщины-проститутки. И сделала это, после долгих и мучительных раздумий, очень быстро.

– Понимаешь, котик, мне смертельно надоела нищета, – говорила она мне, раскуривая сигарету, в то время как я дивилась на ее костюм от Диора, шарф от Шанель и другие диковины нарядов и косметики. – И я решила попробовать. Ты знаешь, это ведь Париж. И ничего тут особенно страшного нет. И в Москве девчонки этим же занимаются. И везде. И всюду! Ну, мир так устроен. Ну, все на этом стоит! Мужчинам нужны мы! И они за это платят! И платят, представь себе, дорого! Очень дорого!.. Дай мне чаю. У тебя есть заварка?... Я купила тут... полно всего... я же знаю, что у тебя ничего нет...

Люська вывалила из сумки на стол всевозможные яства. Я заваривала чай и думала о Мадлен, героине моего романа. Так вот что нам, женщинам, суждено. Во все времена. Хочешь не хочешь, а идешь на это. Потому что надо жить. А если у тебя семья?! Тогда надо жить тем более.

– У меня сногшибательный любовник, – приблизив губы к моему уху, зашептала Люська. – Делец. Глава фирмы. Не первой свежести, но... уснуть мне не дает!.. А платит!.. Вот, гляди, – Люська вытряхнула купюры из сумки на одеяло моей нищенской кровати, куда усе-лась, – и франки, и фунты... и доллары!.. Возьми!.. – Она пододвинула ко мне по одеялу кучу бумажек. – Это я с тобой делюсь на радостях. И знаешь что? – Она остро, пронзительно глянула на меня из-под челки. – Знаешь что я тебе, дуре, скажу? Хватит сидеть здесь и киснуть. Надо делать жизнь. Свою жизнь. У нас, баб, нет другого пути. Ни в России, ни во Франции. Нигде.

– Есть! – попыталась бессильно возразить я. Люська меня даже не слушала.

– Аленка, ты круглая дура! Ну ведь это же все... вот, что на мне... и что еще будет... реально! Я вырвусь из жуткого круга ужаса и бедности! Я поднимусь вверх по лестнице! Вот увидишь!.. Но и ты должна решиться! Я призываю тебя! Это же так просто! И у тебя будет такая красивая, сытая жизнь! Ты забудешь этот мрак... эту жуть, – она приподняла двумя пальцами край моего дырявого ватного одеяла, – в которой ты сейчас прозябаешь! Выйди из болота! Войди в другое пространство!

– Продавать себя?

Я криво улыбнулась. Я понимала правоту Люськи; я знала свою правоту. Мне не хотелось с ней спорить. Я просто очень устала.

– Да, продавать себя! А разве не свой труд ты сейчас продаешь этой твоей мадам?! За копейки... тьфу, за сантимы! За несколько жалких франков, чтоб не сдохнуть!

– Я понимаю, мы все в мире продаем себя. Кто дорого, кто дешево. И те, кто продает себя дорого, знают, на что идут. Они-то и несчастнее всех.

– Почему?! – заорала Люська, тряся меня за плечи. – Я счастлива сейчас! Сча-стли-ва!

– Тихо, не кричи, соседи услышат... Потому что они обманывают других, но себя-то нельзя обмануть. Стать проститутком, проституткой очень легко. Сознательно. Не только от голода. Соблазн роскоши велик.

– А жить всю жизнь как драная кошка, как грязная свинья – не грешно?!

Люська вскочила с кровати и стала сердито резать салями, рокфор, прессованное крабовое мясо. О Люська, неужели жизнь человека – лишь в жратве?! Но Боже мой, Боже, почему я так все время хочу есть?! Убери от меня голод. Возьми от меня жажду. Сделай меня камнем. Бесчувственной железкой. А голод и жажда любви?!

– Что же будет у тебя взамен любви, Люська?!

– Еще и почище других замуж выйду, – сказала Люська с набитым ртом, уписывая за обе щеки бутерброды и крабов. Она тоже, как и я, изголодалась в подвалах и на чердаках Парижа. – Еще как выйду! Позавидуешь! Слюнки потекут! И совмещу приятное с полезным. Выйду за богатого и постараюсь его полюбить. Он будет молодой и красивый. Да ведь и старого полюбить тоже можно. А? Садись, ешь. Нажимай. И советую подумать.

Мы стали думать вместе, поглощая королевскую еду. Люська, вытерев рот, полезла в сумку и вытащила бутылку муската.

– Давай выпьем за твою карьеру, – сказала она мне и подмигнула плутовато. – Я уверена, что ты все равно скovyрнешься. И будешь иметь успех. Но тут надо потрудиться. Это ой-ой какой труд. Это тебе не стишки писать.

Она хохотнула и откусила кусочек салями.

– А как это... делается?...

Я спросила очень тихо. Люська еле расслышала.

– Это?... А!.. Очень просто. Я, например, вышла на панель. Прямо на улицу. И мой фирмач меня тут же и подхватил.

– Тебе повезло, дорогая. Это мог быть шофер... лавочник... вообще бандит. На одну ночь. На минуту. За гроши. Без грошей. С оскорблениями. С побоями.

– Откуда ты про это знаешь? – Люська прищурилась. – Пробовала, что ли?

Я опустила голову. Я вспомнила свою Мадлен.

– Давай прежде муската сперва чаю попьем.

Мы пили чай по-русски, долго, много, прихлебывали, подливали, наливали в блюдечки, дули на горячее, как купчихи. Вспоминали Москву. Смеялись. Хохотали. Плакали. Улыбались. Обнимали друг друга. Люська раскупорила бутылку и разлила мускат прямо в пустые чайные чашки – рюмок у старикана не водилось.

– За тебя, – серьезно сказала черноглазая Люська, моя подруга, и ударила чашкой о чашку. – За то, чтобы ты не пропала. Париж сожрет – недорого возьмет. И никто не узнает, где могилка твоя. Вперед!

Когда мы прикончили мускат, была уже глубокая ночь. Я предложила Люське остаться у меня – старикан бродил где-то, верно, уснул на теплых решетках, – но она насмешливо улыбнулась мне, сверкнула черной яшмой глаз.

– Пойду на работу. Самое время!

– Постой... а как же... тот? Твой?...

– Тот?... сам по себе. У меня с ним назначена встреча. А новые – сами по себе. И я сама по себе тоже, – сказала Люська и еще раз, чуть хмельная, подмигнула мне. Она была невыразимо хороша: смуглая, черненькая, румяная от вина, курносая. Таких французы любят, потому что она тип француженочки. Ей, наверно, пойдет беретик, лихо спущенный на ухо. – Пойду зарабатывать деньги. Я узнала их вкус. Пойду в ночь. Ночь – это прелесть. Это охота. Это новые приключения. Это мое будущее.

– Люська, ты нарвешься!

– Я? Нарвусь? – Она презрительно поглядела на меня. – Это ты сгниешь тут заживо, дурочка. Над своими никому не нужными бумагами. А я живу жизнью. Живой жизнью. Да, тяжелой. Да, полной опасностей. Но живой. И интересной. И еще такой, за которую деньги большие платят. Пока! – Она чмокнула меня мускатными губами в щеку. – А то пошли со мной!.. Да тебе не во что нарядиться. Хочешь, я тебе для первого похода... тряпок куплю?...

Она упорхнула. Я осталась одна и стала думать.

Я думала, а рядом со мной на столе лежал мой законченный роман.

И вот что я придумала.

Я придумала идти. Ведь это же так просто.

Но, прежде чем уйти, я решила написать это предисловие к роману. Я не верю, что его напечатают. А если его когда-нибудь напечатают, прочитают и предисловие. Значит, написать его все равно надо, подумала я. И вот написала.

А теперь мне осталось совсем немного. Я оглядываюсь вокруг. Бедность и нищета. И пахнет грязными тряпками и мышами. И нагаром – мы с Люськой жгли свечку. Мы воткнули ее в пустую бутылку, по-русски. Одеваюсь. Накидываю на себя старое штопанное пальто – его мне когда-то в России, давно, купила в подарок мама. Обматываю шею траченным молью шарфом. Мажу губы дешевой коричневой помадой. Тру щеки обшлагом, чтобы были румянее. В Париже февраль, в Париже метель, как в Москве. Смотрюсь в зеркало. Пусть одежда плохая, все равно я красива и молода. Я еще красива и еще молода. Мне еще повезет. У меня нет другого выхода.

Входов много, а выход всегда только один. Или его нет вообще.

Аккуратно складываю листы романа в стопочку. Завтра я отнесу его мадам Мари и попрощаюсь с ней. Я выполнила свою работу, мне заплатили за нее. Все. Пусть берет и делает с ним, что хочет.

Я постараюсь как можно скорее забыть о нем.  
Вообще забыть о том, что я могу писать. Что я русская. Что я бедная.  
Мне надо помнить одно: начинается моя новая жизнь. Какой она будет, я не знаю.  
Заканчиваю писать это предисловие. Выключаю лампу. Завязываю шнурки башмаков.  
Иду к двери. Закрываю за собой дверь.  
Возвращаюсь, чтобы дописать это.  
Вот это: СПАСИБО ТЕБЕ, МАДЛЕН.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

- Стреляй! Стреляй в нее, граф!
- Барон, взводи курок! Не промажь!..
- Остановитесь!.. Не стреляйте!.. Не стреляйте!.. Не стре...

Она бежала, задыхаясь, босая, по колючему снегу зимнего парка. Ее золотая кудрявая голова фонарем горела в синей февральской ночи. Она бежала полуголая, в белье, и ее горячие ступни прожигали лиловый снег. Боже, как холодно в этом мире. Боже, возьми меня к себе.

Ряженые в масках высыпали в парк. Люди толпились около мраморных лестниц, спускающихся от балконов прямо в сугробы. В ледяном воздухе ярко пылали факелы. Сквозь слюдяно блестящие оконные стекла просвечивали жарко горящие многоярусные люстры. Люди, переодетые колдунами, чертями, призраками, разбойниками, солдатами, волками, тиграми, медведями, бросались за ней. Догнать. Изловить. Спасти? Или убить?

Глаза женщин, их радужки и жемчужные белки сумасшедше блестели сквозь прорези масок. Она бежала. Тьма сгущалась, и огни дрожали среди деревьев.

И внезапно пошла шагом, как усталая лошадь. И остановилась. Обернулась к тем, кто целился в нее.

– Ну! – крикнула.

Крик разнесся на весь парк. Потонул в накатывающей с зенита черной ночи.

Два выстрела раздались одновременно.

На ее груди и животе стали медленно расплзаться красные пятна, красными глазами смерти глядя сквозь тонкое кружевное белье.

Она медленно и сонно оседала в сияющий в свете факелов снег, искрящийся синим, голубым, алмазным, фиолетовым, красным, изумрудным, розовым, золотым.

– Снег, – выдохнула она зачарованно. – Всюду снег. Я ложусь в снег. Он меня заметет. А я так хотела быть Царицей. Вот они, мои скипетр и держава. В крепко сцепленных... костях...

Она упала в снег навзничь, на спину, будто для любви, для объятий, раскинув руки, уставив неподвижную голубизну глаз в бездонье звездного неба.

Двое, стрелявшие в нее, медленно подошли к ней. Снег хрустел под их сапогами.

– А гляди-ка, – хрипло выдавил один из них, высокий и худой Арлекин в клетчатом трико. – У нее побрякушка прицеплена к волосам. Скоморошка чертова. Сорока. Блестящее любила. Что это?!

Они наклонились оба. Всмотрелись. Другой, крепкий, бородатый, с широкими плечами, в венецианской бауте, осторожно тронул мертвые волосы рукой.

– Царская корона, – издевательски процедил. – Только крошечная. Как для куклы. Да она и была кукла. Марионетка. Мы ведь ею управляли, граф. Дергали за ниточки. Вот... дернули в последний раз. Финал! Ваш выход! Давно пора было убрать ее.

Граф молчал. Угол его рта дрожал.

Он смертельно хотел закурить.

Это неподвижное красивое тело раздражало его. Он обнимал его, целовал. Мял. Кусал. Крутил. Вертел. Любил. Любил как мог. А потом ненавидел.

Ненавидел?!

Он рухнул на колени в снег рядом с ней и спрятал дергающуюся голову в красные на морозе ладони, будто пил из горсти и не мог напиться.

А из дворца, щедро освещенного свечами, лампами, факелами, люстрами, светильниками, огнями в тяжелых медных шандалах, лилась, вихрясь и бешенствуя, сверкающая веселая музыка, и она говорила всем, кто вырядился лисой, зайцем, драконом, китайским императором: вот жизнь, а вот смерть, танцуйте, танцуйте, милые, кружитесь в вальсе, в кадрили, в

мазурке, выступайте, как павы, в смешном полонезе, ломайтесь и кривляйтесь в шимми и буги-вуги, станцуйте со своей смертью, вы же еще живые, ну, еще шажок, еще па, еще коленце, еще фуэте, так весело вертеться в наслажденье и безумье, так сон похож на явь, и нет у них границы. А эта, убитая?... – да поделом ей, это же была просто шлюха, просто неудачница-куртизанка из чужой страны, и так и не научилась она чисто говорить на нашем языке. Слова ломала. Жизни корежила. Сколько на ее счету убитых душ?!.. кто считал... Вот она лежит. А, да это просто сучонка мадам Лу с Гранд-Катрин! Я знаю ее. Она за нами шпионила. Кто подберет тело? Унесите ее. Заверните в простыню. Что там у нее с затылка в снег свалилось?... Бирюлька. А вдруг заколдованная?... Вы всерьез верите в колдовство, герцог?... А вы дорого покупали ее тело?... Да нет, не особенно. Когда-то она стояла всего пять монет и одну большую красную рыбу. Она очень любила красную рыбу. Кету. Горбушу. И обязательно с икрой. Требовала, чтобы с икрой. Она изумительно раздвигала ноги. Как жареная курица. Едали мы таких курочек. Хочешь поглядеть, как она лежит на снегу? Холодная уже. Где вы ее похороните?... Может... утопить ее в пруду?... Ах, какой веселый карнавал, мамочка!.. А эту белокурую девушку убили понарошку?...

Ну конечно, понарошку, душечка. Кто это сейчас, в наше время, на таком чудесном празднике, убивает по-настоящему. Сейчас уже подадут десерт. Столы во дворце накрыты. Вон лакеи мороженое несут. Инжир. Курагу. Ты любишь курагу? Люблю. А почему она... не шевелится?... Так ряженая же. Играть мертвую так играть. Чтобы никто не догадался.

Эй, ты! Пнуть носком сапога в бок. Пощекотать концом трости нательный крестик между ключиц. Слишком хорошо играешь роль! Классная козочка! Кончай ночевать на снегу! Иди, дуй шампанское! Хлобыщи до умопомрачения! Гуляем на все! Герцог обливает нас шампанским задарма, как золотым дождем! Упейся! Из горла! Вот это карнавал! Карнавал карнавалов! А ты... разлеглась тут, как тюлениха на лежбище! Брось ломать комедию! Вставай! Вставай! Вставай! Эй, ты, вста...

Она лежала не шевелясь.

Ее ярко-желтые крутые кудри перебирал мягкими пальцами надменный, ледяной февральский ветер, налетающий с зимнего залива, куда впадала Зеленоглазая река. Море затаилось рядом.

Если бы она дожила, если бы ее так быстро не застрелили, она бы переплыла это чужое море – раз плюнуть – и вернулась бы.

Игрушечная царская корона, прицепленная к ее темени пошлой резинкой, выдернутой из старых панталон, отвалилась от прически и упала в сугроб, в то время как ее самое поднимали, дергали, как картонную куклу, за руки, за ноги, волокли, переворачивали, встряхивали, бросали, как вещь, на простыни, на связанные узлами полотенца, на носилки, на телегу.

Жить шлюхой и умереть Царицей – это надо было суметь.

*...А ты не тарась-то глазенки, а послушай... послушай-ка меня... байки всякие бают... много чего брехливого брежут... сама слышала, да не всякому сказывала... а-ах, зеваю сильно!.. спать хочу... а ты тут еще ворочаешься, все никак не угомонишься... спи, глазок, спи, другой... говорят, баба была одна, так сильно любила Царя, так невозможно... и при нем жила, во дворце, со злата-серебра ела-пила... а уж красавица была писаная: картинка... И вот так уж она любила Царя... а Царь-то ее, кажись, и разлюбил... ух, горе горькое!.. Душа ее до неба в отчаянье взвилась... Стала она думать, как Царю отомстить... а Царь-то к тому времени уже и новой любовью обзавелся, и уже невестой она Царской стала, и уже жениться Царь надумал, велят во дворце свадьбу играть... Глашатаи по всей стране в серебряные трубы прогудели!.. что не спишь, вредная девчонка, а ну-ка, засыпай сей же час... а то рассказывать не буду...*

Тишина. Чуть шевелятся под теплым ветром инистые кружева тюля. Рассказ плавный, бормотанье несвязное, шепот сходит на нет, сбивается на вздох, на зевоту, на невнятицу ночной молитвы.

– О-ох, как же она его любила, если сделала такое... такое...

– Какое?... ну, рассказывай скорей...

– А такое... Женился Царь; жена его, красавица, еще краше прежней любовницы глянулась. Забеременела... ну, это уж как всегда... Род людской продолжиться должен... Вот час родов наступил. Стонет молодая царица, извивается в муках... девочку родила... да прехорошенькую!.. лежит младенец в пеленочках... плачет, вякает, корчится, как червячок... В пеленках кружевных, шелковых... Царских... золотыми коронами по углам вышитых... Закрывай глаза! Закрывай, кому говорят!..

– Не кричи на меня...

– Я и не думаю кричать, моя ягодка... и вот, слушай дальше... та, прежняя-то любовница, прокралась во дворец и... да не сучи ты ножонками!.. отдохни хоть малость!.. сейчас и ночь-то кончится, не успев начаться... и утащила малышку Цесаревну!.. Выкрала!.. А украв, испугалась сильно... бежит с ней, по грязи, по буеракам, задыхается, вопит что есть силы... бежит... на горе утащила младенца, на грех...

– А что такое грех?..

– Все тебе сразу объясни... этого никто не знает, так Бог придумал... зло это, несчастье большое... Кто кого в грех введет – на того страданья всякие посыплются... немоци, болезни... Вот и та красотка-то, бывшая Царская наложница, ох, испугалась... Думает: куда ж бы ее деть-то?... тянет руки девчонка... орет в батистовых пеленках... И положила она ее на крыльцо избы... а дождь сечет!.. а ветер хлещет по щечкам!.. завывает в небе, ломает деревья!.. страх, да и только, непогодь какая в мире настала тогда!..

Трицат дрова. Потухает огонь. Тишина сгущается, как старьей, засахарившийся в толстостенной банке падевый мед. Скрипят пружины кровати. Поет сверчок. Пахнет куревом – в доме недавно курили; пахнет жареным мясом, деревенской сметаной, мятными лепешками, тонкими цветочными духами, старыми тряпками, прожженными горячим утюгом – ветхое белье отглаживали час назад.

– И гроза не покалечила ее?..

– А то была осенняя гроза: одни слезы да крики, ни грома ни молнии... Вот бросила она младенчика и побежала, прочь побежала куда глаза глядят, не оглядываясь... А девочку подобрала простые люди... вынянчили... воспитали...

– А как они назвали ее?... Воспителлой?..

– Думаешь, я помню, как?... Люди ведь кто что говорят... всех имен-то и не упомянешь... По-разному кликали ее... кто Машкой... кто Маришкой... кто Мариэттой... кто Марго... а по правде ее звали... ее звали... ее...

– Что ты засыпаешь все время!.. Не спи!.. Ты лентяйка!.. ты ленишься мне рассказывать дальше!..

– Ох, прости, старая я стала, что ли... так и клюю носом, как курица... Ну и вот... росла она... росла... и выросла красивая, в точности, как ее мать... и тут началась война... и всех мужиков побили, а всех баб да девчонок в плен забрали... горько в плену-то, тяжело... жить в плену не хочется... руки на себя иные накладывали... а она девочка была умная... смысленая... хлебнула она горя, хлебнула... Не приведи Господь... всякого навидалась... и в канавах спала... и с разбойниками у костра дрожала, а они с нее последнее платьице стаскивали, глумясь и хохоча... и руку за подаванием тянула... и борозды слез пролегли по ее свежим юным щечкам...

– А глазки у нее были синие?..

– Синие, синие... как небо над сугробами...

– А что с ней дальше было?... ну не молчи!..

– Боженька мой милостивый, да когда же ты угомонишься наконец, обо что мне голову разбить, отчаялась я, устала, сейчас подушкой тебя накрою, черной тряпкой обвяжу, как клетку с канарейкой, мигом утихомиришься...

\* \* \*

– Кази! Ты где! Дай мне полотенце – вытереться! Я вся вспотела.

Стоящая перед высоким, до потолка, венецианским зеркалом молодая женщина вытирала полотенцем мокрое, распаренное красное лицо. Золотые кудрявые волосы облепляли мокрыми кольцами крутой, как у бычка, лоб. Подруга с нескрываемым восхищением глядела на алые щеки, высокие упругие груди с торчащими врозь сосками. В зеркале отражалась во весь рост вся голая красавица, смеющаяся, с дикими, как у зверя, ослепительными зубами, с неистовым искристым блеском огромных серо-синих глаз. От голой молодой женщины шел пар, будто она только что выскочила из жарко натопленной бани и вывалилась в сугробе.

– Эх и утомилась же я, Кази!.. До чего они мне все надоели!.. Хочу фруктов.

Молодая женщина, наклоняясь и изгибаясь, насухо вытерла перед зеркалом голое тело – подмышки, колени, живот, бедра, шею, лопатки, ключицы, срамные места, – передохнула, улыбнулась и подмигнула своему отражению; попятилась и плашмя рухнула на обитый атласной, в пошлых цветочках, тканью диван.

– Дай!

Протянула руку. Кази взяла со стола грушу и апельсин – яркие аляповатые фрукты горой лежали в фаянсовой дешевой вазе – кинула грушу голой подружке, сама стала чистить помеланец, глубоко, как кошка, вонзая ногти в оранжево сияющую шкуру плода.

– Измучал тебя твой иностранец?

– Они все такие. С причудами. Сделай им то, покажи им это. Зато платят щедро. Мадам довольна. – Нагая криво усмехнулась, снова блеснули великолепные хищные зубы, похожие на крупный отборный жемчуг. – А я недовольна.

Кази под села к подружке, доедая апельсин. В воздухе тесного, заваленного грудой подушек и думок, прокуренного будуара висел острый запах цитрусовой разломанной корки, напоминающий детство и Рождество. Часы, висящие на стене над головами женщин, пробили три.

Ночь. Глухая ночь. Девушки, не пора ли спать? Или придет новый гость? Черный человек?... А может, синий... или красный?...

– Чем же ты недовольна, Мадлен?... Вот отработаешь свое... по контракту... и гуляй на все четыре стороны...

– Гуляй?! – Голая взвилась. – От мадам гульнешь! Она выжмет из тебя все соки. А потом плюнет, как ты плюешь... эту апельсиновую косточку... Она будет держать тебя здесь до последнего. А когда наступит это последнее... тогда уже... тебе будет... все равно. Мне и сейчас уже... все равно.

– Врешь! – Вскрик Кази отозвался звоном в фарфоровых чашках и хрустальных бокалах, сгрудившихся на неприбранном столе. – Тебе не все равно! Тебе так же хочется жить, как и нам всем! Вырваться отсюда! Выйти замуж! Родить детей! Жить с мужем счастливо! И...

– ...и умереть с ним в один день.

Язвительная улыбка снова скривила роскошные губы Мадлен. Полный, персиково-нежный, чувственный рот. Так бы и укусил его, так бы и съел. И клиенты едят. За милую душу. И с сахаром, и с коньяком, и запивая бренди, и просто так, живьем, в собственном соку. Мадлен в собственном соку. Лучшее блюдо мадам Лу. Слаще не бывает. Они все, включая Кази, – просто отребье в сравнении с Мадлен. И они все это знают. И завидуют ей. И гнусавят про нее

разные гадости. Она приносит мадам самый большой доход. Как широко, почти раскосо стоят ее коровьи, со сливовой поволокой, безумные глаза!

– Вы все придумываете себе, – процедила Мадлен, вонзая зубы в мякоть груши, смачно всасывая сладкий сок. – Вы обманываете себя. Бедные овечки. Бьются ваши сердечки. Нету у вас умишка ни на грош. Вместо того чтобы слащаво мечтать о сусальных семейных радостях, озаботились бы лучше своими персонами. Какие у вас у всех животы! Ножищи!.. Стыд поглядеть!.. Жир свисает слоями... Себя жалеете. Дрыхнете по утрам, после бурной ночи. Поблажку себе даете. А слабо пробежаться по зимней улице в майке?! Принять холодную ванну?! Отжаться от пола двадцать раз?!..

– Зачем? – Брови Кази поползли вверх. Она облизала пальцы, вымазанные апельсиновым нектаром. – Мне и так хорошо. Я люблю поспать по утрам... А когда же нам расслабиться... благо дрянная мадам не звонит в свой жуткий колокольчик...

– Затем, – вдумчиво произнесла Мадлен, приканчивая грушу, – что важнее тебя самой нет человека в мире. Следи за собой. Содержи себя. Люби себя. Кто сказал: возлюби ближнего, как самого себя?... Вы все и себя-то любить ни капельки не умеете. Будешь на высоте – успех к тебе сам придет. Счастье само на брюхе приползет.

– Что же, Мадлен, – в голосе Кази зазвенели обидчивые слезы, – к тебе-то счастье все никак не приползет на брюхе? А?... Ты-то у нас самая гладкокожая... самая стройная... самая румяная... и пахнешь ты лучше всех... и смеешься звонче... и от богатых клиентов у тебя отбоя нет – только тебя к себе и требуют... И в шкатулке у тебя, небось, скоплено под кроватью и в тумбочке побольше, чем у всех нас...

Голая красавица встала с охнувшего всеми пружинами дивана, выпрямилась, гордо выгнув спину, глянула на чернокудрую худую Кази сверху вниз.

– Потому что ваше счастье – это не мое счастье, – раздельно, чеканя слоги, произнесла она.

Повернулась к Кази задом. Роскошный зад. Цветок. Натура художника. Переливается перламутрово, нежно. Поясница с озорными ямочками так и просит безмолвно быть обвитой жемчужной нитью... либо золотой цепью. Где ювелир, что выкует цепь?

Кази насильно повернула к себе Мадлен за голые плечи. Ее глаза впились в глаза Мадлен.

– А что такое твое счастье? – задыхаясь, спросила Кази. Ее щеки покрылись красными пятнами. – Или это секрет?! Ты злая, Мадлен!

– Я не злая, – пожалала плечами голая, – я просто настоящая. А вы все поддельные куклы.

– Кто тебе дал право всех судить?! – сорвалась Кази на крик.

– Не вопи, сейчас сюда мадам прихромает и нам обеим задаст, – устало бросила Мадлен, сдернула с дивана скомканную простыню и укутала ею голые плечи. – Никого я не сужу. Я хочу вырваться. Вырваться отсюда. Но не так вырваться, как хотите вы.

– А как?...

В голосе Кази послышалось рыдание. Еще немного, и эта клушка разрешится. Ночь. Глубокая ночь. Плачь сколько хочешь. Но плакать нельзя. Могут прийти. Схватить за руку. Поташить. Втолкнуть в чужую комнату. Кинуть на кровать. На диван. На кушетку. На пуфик. Задрать ноги. Содрать тряпки. И пищи не пищи, ты уже не птичка, не зверек. Не сурок, не сорока. Ты просто жалкий человечек. Жалкая женщина на ночной работе. Ты служишь. Это служба твоя. Ты сама выбрала ее. Ну и служи. А слезы тут при чем. Плачут пусть кошки и собаки. А человечки не плачут. А женщина не человек! Врешь. Женщина больше чем человек. Больше чем нечеловек.

Женщина это женщина.

Родиться женщиной – несчастье. Проклятье.

От кого зависит, девочкой ты прорежешься на свет белый из утробы или мальчиком?! От отца?!

– Так, – Мадлен стояла, повернувшись к черному ночному окну, и неотрывно смотрела в смоляную темень за замерзшим стеклом. – Очень просто. Я вырвусь отсюда и разбогатею. Я буду крутить головы самым богатым людям этой земли. Дурить их, как хочу. И идти все выше. Выше. Выше. Подниматься по лестнице любви. Бежать по ней семимильными шагами. Прыгать через две ступеньки. Выше! Вперед! Вы все болтаетесь уже далеко внизу. А я бегу. Мир раскрывается передо мной. Лучшие отели. Залы. Катания на лошадях. На яхтах. На машинах новейших марок. На собственном корабле. На собственном аэроплане. Блеск брильянтов на моих пальцах. В моих ушах. На моей обнаженной груди. На лучшей в мире груди – лучший в мире брильянт: сколько каратов?..

Улыбка Мадлен пугала Кази. Мадлен наступала на Кази грудью, и Кази пятилась, а Мадлен все наступала, и огнем пылало ее широкоскулое, с гладкой опаловой кожей, лицо, и безумие, смех и озорство вспыхивали в широко стоящих, как у стельной коровы, глазах.

– И к чему тебе все это, Мадлен?... – пропищала Кази, пятясь к окну. – Ну, будешь ты самой богатой женщиной мира... ну и что?... Если ты проживешь без любви...

– А-ха-ха! – захохотала Мадлен. Хохот забился под потолком подстреленной птицей. – А кто тебе сказал, что я обязательно проживу без любви?... Кто из вас лез грязными лапами мне в душу?!.. А может, я лю...

Она осеклась. Табу. Запрет. Этого нельзя говорить. Никогда и никому. Ни при каких условиях. Даже если тебя обсыпали бы золотыми монетами.

Кази ухватилась за штору. Непрочно сидевший в гнезде гвоздь вырвался из стены, и карниз упал с грохотом, чудом не изувечив девушек.

Они стояли секунду опешившие. Потом безудержно расхохотались.

И хохотали, хохотали не переставая. До икоты. До колик в животе. До подергиваний руками и ногами.

– А если бы... а-ха-ха!.. если бы... карниз упал нам на голову?!.. ха-ха-ха-ха!..

– Он сказал нам: бросьте ваши распри... ха-ха-ха!.. дуры девки, обсуждение жизни выведенного яйца не стоит, надо просто жить... просто жить, ха-ха...

– Ты знаешь, Кази... а-ха-ха-ха!.. я все-таки пробьюсь на самый верх... помани мое слово, ха-ха!.. я на ветер слов не бросаю... Я все равно взлечу выше всех... и буду глядеть оттуда на всех вас, бедняжечек... на землю... на нищету... на беспомощность... на... ха-ха-ха!.. на тебя, Кази, как ты варишь в котле гороховый суп, от которого пучит живот... Я подарю тебе тогда норковую пелерину, Кази!.. она очень красивая, ты схватишь ее дрожащими руками... ты будешь благословлять и крестить меня, когда я поцелую тебя и пойду прочь... прочь... а ты будешь мять и комкать драгоценный мех, нюхать его, гладить дрожащей ладонью – не поддельный ли... прижимать его к щеке, как живого зверя... не верить своему счастью... а-ха-ха... потому что для тебя тогда и этот мех будет казаться счастьем, Кази... настоящим счастьем... да это так и есть... а я буду счастлива тем, что подарила тебе эту маленькую радость...

– Ах, Мадлен!.. – Кази пылко обняла голую подругу, их груди соприкоснулись. – Как я завидую твоей уверенности в завтрашнем дне!.. У меня ее нет...

– У меня тоже нет, – спокойно ответила Мадлен, подходя к вазе и принимаясь за банан. – Я просто хлебнула уже чересчур, Кази. Тебе и не снилось.

– Мы все хлебнули, Мадлен.

– То варево, что хлебала я, Кази, не хлебал никто из вас.

Голос Мадлен стал жестким и колючим, как наждак. Она плотнее закуталась в простыню, села с ногами в угол дивана.

– Дай мне сигарету, Кази, – сказала она резко и вытянула руку, будто клянчила милостыню. – Долго еще до утра? Как отлично, что к нам не идут. Нас оставили в покое. До рассвета. Рассвет зимой поздний. Давай считать в окне звезды через стекло. Давай есть апельсины и бананы. Давай я расскажу тебе свою жизнь.

– Свою жизнь? – протянула Кази. – А ты разве старая старушка?...

– Я старая старушка, – холодно сказала Мадлен. – Мне двести лет. Я помню всякую всячину. Я помню даже то, чего не помню.

– Давай лучше спать, Мадлен, – сказал Кази устало и поежилась – становилось холоднее, мороз за стеной вырисовывал узоры на стекле, дрова в камине догорали. – Совсем немного осталось до утра. Пусть твоя утроба отдохнет. И моя тоже. Не думай, что только одна ты вкальываешь здесь.

– Я не думаю, Кази, – равнодушно согласилась Мадлен. – Отдохнем.

\* \* \*

..... Они нагрянули. Влетели. Гнали и гнались, сметая все на пути. Путь их был неисследим. Война! Дым лез в ноздри, в уши, в душу. Они стреляли? Должно быть. На войне всегда убивают. Так заведено на войне. Обычай такой. Традиция. Они убивали умело, и спеша, задыхаясь, ярясь; и не торопясь, с толком, с расстановкой, маслено, как кот на сметану, шурясь. Люди, сбиваясь в кучу, кричали. Пощадите! Помогите! В ответ – глумливые ухмылки. Зачем пощада, когда и без пощады прожить можно? И без сердца? Что такое сердце? Маленький кровавый мешок, комок, резво бьющийся под ребрами, качающий кровь по холодеющим членам, содрогающийся в жестоких и бессмысленных конвульсиях? Неистовые солдаты! Зачем вы явились!.. Ни за чем. Просто так. Поразвлекься. Поглядеть, как ты, девчонка, будешь визжать и плакать, когда тебя распинают на белом снегу, как ты, мальчишка, будешь плевать на черный лед свои выбитые зубы, видя, как жгут твою родную избу, и черный дым виснет и мотается адским конским хвостом до самого неба.

Они били из орудий, стреляли из железных трубок; я и в страшных снах не видала ни пушек, ни ружей, ни иного оружия, и я не знала, что с неба, в лютом гуле, закладывающим отверстия уши, могут лететь вниз, на землю, железные младенцы в железных пеленках; и, подлетая к земле, разрываться и взрываться, усеивая смертоносными осколками пространство, поражая цель дальнюю и ближнюю; и будут падать наземь, прижимаясь животами к сырой и ледяной земле, к твердому блестящему насту, к свежевывавшей крупке и зальделой пороше, дрожащие от страха люди, утыкаясь лицами в палые холодные листья, бормоча молитвы и заклинания: «Спаси!.. Сохрани!.. Отведи!..» – а осколки, несомые волной взрыва, будут, острее ежовых игл и древних мечей, впиваться в них, пронзая их плоть, вгоняясь в их бессмертные души, и будут, умирая, плакать распятые на земле люди – оттого, что и они смертны, и душа внутри них, бедная, смертная тоже. И я бросалась вместе со всеми на землю и закрывала ладонями лицо. И я шептала: «Господи!.. Спаси!..»

– Ты!.. Руки вверх!.. Стоять!.. Не двигаться!..

Я стояла и не двигалась.

Вы, захватчики, чужие солдаты. Как вас много, и почему у вас такие одинаковые лица. Вы все вылупились из человеческих яиц в подземном сундуке, где волгло и тоскливо. Вместо носов у вас острые клювы. Не клюйте меня. Я боюсь боли. Я всего лишь девочка. У девочки счастье короткое, как ее девство. Разорвут кружево – красный сок потечет. Красное варенье будет капать с чужих и злых пальцев. Не лезь грязными пальцами, ты... паскуда. Я сама раскинулась. Раскинулось море... поле... снежная степь. И я лежу в степи одна. И ворон кружит надо мной. Ворон думает, что я уже умерла. А это над девочкой вволюшку солдаты посмеялись. Разодрали ее, как курицу, и каждый отщипывал по кусочку беленького, вкусенького мяска. Люди, людоеды. Сволочи. Вы называете это жизнью. Вы называете это войной. Для чего ваша война?! Для того, дура, чтобы съесть таких глупых курочек, как ты. Чем глупее, тем вкуснее. Но мы не съедим тебя. Ты невкусная. У тебя умные глаза. Они прожигают насквозь. Да и состав скоро отправится. Надо успеть закинуть добычу. Ты наша добыча. Ты уже принадлежишь Эроп.

Мир устроен очень просто. Сейчас они свяжут меня грубой веревкой. Вережка вопьется в тело. Кинут в кузов грузовика. Колеса в глинистом киселе проковыряют тропу к подножию товарного вагона, набитого вонючей соломой.

– Вы! Овцы, вашу мать!.. Не вопить!.. Не визжать!.. Вас сейчас погрузить в товарняк и повезти далеко, далеко!.. В Райская страна!.. Туда, где каждая чельовек можно быть счастлива и богата!.. Вы научили роскошный манир!.. Вы будейт мыть ноги и уши по утро и вечеро! Вы будейт брызгать шея и грудь лючший арома и парфюм Эроп! То ест настоящий культур! Вы не знайт его!.. Вы возить кулак в дерьмо!.. Вы спать на солома!.. Когда вы прибыть в Эроп, солома с ваген жечь, иначе эпидемия!.. Вы будейт служиль наша господин и госпожа! Хорошо будейт служиль – каждая будейт царица на Карнавал!..

Солдаты в жестоких и тупых касках раскачали и швырнули меня, для смеху, с размаху в открытый вагон товарняка так, что я на миг потеряла сознание. Все поплыло перед глазами. Красные и черные молнии застрочили с исподу сомкнутых век.

Очнулась: кости целы, голова разбита. Из рассеченного виска на пук соломы сочится кровь.

– Тише... что ты ревешь... не плачь... все равно нам теперь не выпрыгнуть на ходу... поезд бежит быстро... прыгнешь – шею сломаешь...

Теплые, соленые слезы на холодных грязных щеках.

– Куда нас везут?... скажи... кто ты...

Ничего не вижу. Ударили сильно. Памяти тоже нет. Отшибло. Что я помню? Избу? Темноту курного утра? Лютый мороз за рыбьими тушами черных бревен? Мать топит печь. Рыжие сполохи ходят по тьме досок, по лавкам, старым тулупам, сваленным на подпечке. Белый, с рыжими пятнами кот лакает молоко из жестяной миски. Мать растапливает печь, ставит самовар, набивает его еловыми шишками, накачивает старым сапогом. В чугуне на подоконнике – тесто. Сейчас будут ставить в печь хлеба. Из остатков, ошметков теста на широкой, как черное озеро, сковороде мать испечет ароматные блины, смазав горелую сковороду кусочком сала, накрученным на старинную, с вензелем, серебряную вилку. Откуда в простом доме Царская вилка?... Мать, ты что, украла вилку?... Смех. На всю избу пахнет свежим вкусным хлебом. Дрова трещат. Царь сам подарил! За любовь!.. Не закрывай выюшку раньше времени, угоришь. Не угорю! Я крепкая! И тебя крепкую родила. И твоих сестриц и братцев.

– Всех расстреляли... и Маню... и Федю... И Лизку... И Пашу... И мамку... и бабу Феню... Одна я осталась... Зачем... зачем...

Невидимая рука бережно поднимала мою голову с примятой соломы. Поила, поднося кружку ко рту.

– Пей, девонька... вода вымоет из тебя всю грязь...

Они, мои Ангелы, не знали, что Бог приготовил для меня яства из грязи; торты из грязи; отбивные и антрекоты из грязи; колбасы и орехи из грязи; соусы и изысканные вина из грязи. И я буду есть и похваливать: о, Бог! Лучше грязи в мире нет! Никогда такой не едала, не пивала!

А на накрытые белоснежными камчатными скатертями столы все будут метать и метать тарелки, полные отборной, вкуснейшей грязи, кувшины, наполненные густой грязью, аппетитные грязные трюфели, сладчайший грязный шоколад, грязный драгоценный кофе, грязную сметану, в которой ложка стоит.

И в отупении я буду глядеть на это великолепие грязи, и мне будут шептать, гудеть, жужжать в уши: ешь, пробуй, налегай, не отказывайся, это все твое, заказанное тобой, приготовленное для тебя самим Господом Богом, и отнекиваться ты не имеешь права. Если ты отвернешь капризную морду свою – пеняй на себя.

Тебе не поздоровится.

Тебе надо будет заплатить за весь прием.

А у тебя, презренная беднячка, таких монет отродясь не бывало.  
Так что жуй, заткнув нос и зажмурив глаза, и не рыпайся.  
Вкусно?!

\* \* \*

– Как тебя зовут?

Молчание.

– Как тебя зовут, сука?!

Удар. Звон в голове. Щека горит. Она лежит на полу. Ноет скула – она, падая, ударилась щекой о каменную плиту.

– Не помню... сударь.

– Сударь, чударь, мударь! Я твой воспитатель! Поняла!

– Поняла.

– Как тебя зовут?!

Молчание.

Удар ногой в живот.

Она перекатилась по каменному полу живым бочонком, с боку на бок, с боку на бок. Застыла. Лежала животом вниз. Руками держалась за грудь.

– Тебя зовут Мадлен! Поняла!

– Меня зовут Мадлен.

– Еще раз! Ты тупая! Ты должна отвечать на вопросы, когда тебя спрашивает твой воспитатель!

– Меня зовут Мадлен. Меня зовут Мадлен. Меня зовут Мадлен.

Молчание, в которое она погружалась, когда ее не били, длилось месяцами, годами... веками. Во время царственного молчания ее никто не тревожил. Она погружалась глубоко в дрему. Дрема обволакивала ее свадебной вуалью. Опахивала павлиньим веером. В дреме она шла полями; цвели клевер и кашка, жужжали пчелы, шмели, зной полудня насыщал колышущийся воздух. С далекой колокольни долносился благовест. Кого там венчают на царство?... Ах, это просто венчают... Да прилепится жена к мужу своему, и будут плоть единая...

– Встать!

Дрема рассеивается, как туман. В нее уже можно глядеть, как в рыболовную сеть – насквозь.

Виден дюжий мужик. Дощатые плечи. Чугунный живот. Красные волчьи глазенки подо лбом. Между резцами щербинка, как у ребенка, а клыки хищно торчат. На щеке две огромных бородавки. Дьявол пометил, когда мама тужилась, выталкивала его из утробы на свет Божий.

– Встать! Быстро! Поняла!

Она научилась вскоре понимать все с полуслова.

Прежняя память, пропитанная запахом полей и лугов, лукошек, доверху полных дикой земляники, никогда больше не вернулась к ней.

Это была вожденная Эроп, и это был всего лишь Воспитательный дом. В Воспитательный дом ее засунули хозяева – она оказалась никуда не годной прислугой. Если ей что приказывали сделать – била посуду, сопротивлялась. Куражилась. Сворачивала головы курам и петухам. Поджигала сарай. Кидала горящие головни в погребницу. Не понимала по-эропски ни слова. Глядела, как волчонок. Кольца золотых кудрей свисали ей на крутой бычий лоб. В синих глазах застыла насмешка безумия, надменность пьяного угара. «Да она втихаря прикладывается к бутылки!.. У нас, господин воспитатель, знаете, какие залежи в кладовых!.. Каких только вин у нас нет!.. И Сен-Жозеф, и Арманьяк, и Маронна, и Русанна, и Каро, и Мадо, и рейнское, и гароннское, и базельское, и тюрингское!.. А эта дикарка... эта вреднюга!.. У нее изо рта

пахнет алкоголем, господин воспитатель, ей-Богу! Вы сами принимайтесь!.. Ведь это ужас что такое!.. Какой пример она подаст нашим деткам!.. Изолируйте ее от общества! Воспитайте ее! Сделайте из нее настоящего человека Эроп! Это зачтется вам! А мы от нее отказываемся. Она ночами ходит по дому, как сомнамбула! Наклоняется над нами. Шепчет на своем тарабарском языке: я вас все равно когда-нибудь прирежу!.. Как поняли, что она шепчет?... А мы догадались. У нее такое зверское лицо при этом делалось! Как у волка!..»

Она спала в общей палате. Кучно, душно. Девчонки ночью ворочаются. Зачем матери в избытке рожают девчонок? Бросовый товар. Все равно каждую когда-нибудь изнасилуют, поставят к стенке раком. Распнут на полу. Полы здесь ледяные. Если провинишься перед господином воспитателем, или кухаркой, или инспекторшей, или раздатчицей, или уборщицей – тебя бросят в карцер. Невеселое место. Одни камни. Камни и железо. Сверху, снизу, справа, слева. Жизни на земле нет. Есть только камни и железо. Однажды, не выдержав муки холодного железа и камня, она захотела похитить в столовой нож-хлебoreзку – про запас, на следующее сидение в карцере. Когда девчонка, нарезающая хлеб, на мгновение оторвала взгляд от мелькающей гильотины огромного черного тесака, зазевалась, повела глазами в окно, на бьющиеся под северным ветром голые зимние ветки, она изловчилась, сунула в мышеловку раздатка лапку, схватила тесак. Сунула под полу платья. С каменным невинным лицом прошествовала к столу, неся в вытянутой руке битую и гнутую миску с плещущейся гнилой баландой. Хваленая Эроп! Пиршество богов! Праздник чрева, языка и души, услажденной изысканными яствами! Она, потупив глаза, уселась за обеденный стол, длинный, как кандальный тракт, вместе с другими обряженными в серое девчонками, и послушно, громко хлебала из оббитой миски горячую идиотскую баланду. Куски ботвы плавали там, сям. Шматки картофелин. Если попался колбасный обрезок – это был триумф. Нашедшая в миске колбасный обрезок выигрывала столовское пари. Ей полагалась награда – маленькая переходящая из рук в руки живая белая мышка. Мышку надлежало держать в ящике, убирать за ней поганые катышки, кормить ее свежей травой и корочками, украденными на обеде. Считалось, что мышка колдовская. Она могла заколдовать господина Воспитателя, чтобы он, к примеру, не сек провинившихся девчонок солеными розгами и не запирали их в черную комнату.

Черная комната.

Ужас моего детства.

Никакой карцер не сравнится с ней.

Воспитатель вталкивал меня в черную комнату и запирали. Ключ хрустел в замке. Сперва я ничего не видела. Глаза привыкали – я различала очертания койки, устланной черным крепом, черной подушки, черной тумбочки, на черной зеркальной поверхности которой стоял черный стакан, наполненный черной пахучей жидкостью.

Я тогда не знала, что именно так пахнет коньяк.

В моей деревне я никогда его не пила.

У нас мужики пили по праздникам самогон... красненькое... домашние вишневые, клубничные настойки...

Запах коньяка дразнил, насмехался, возбуждал.

Воспитатель заходил через горы времени. Я успевала снова позабыть себя и опять вспомнить. Лежала на койке ничком. Он грубо встряхивал меня за плечо, поворачивал к себе. Тусклый красновато-черный свет сочился из-под потолка, из-под железной двери, исходил от каменной кладки, от блестящей никелированной спинки кровати.

– Ну? – говорил Воспитатель весело. Хриплое дыхание цедило сквозь его шершавые зубы, как через сито. – Будешь показывать мне танцы своей любимой родины?

Он подходил ко мне. Его лицо отсвечивало дегтем и смолью. Красно, будто у волка, горели зрачки. Он клал ладони на мои колени и раздвигал их. Юбка с хрустом рвалась. Я как бы

видела себя со стороны его глазами: вот лежит в полумраке на скрипучей койке беспомощная девочка, маленькая курочка, и ее ощупывают, исследуют, как в лупу, придирчиво разглядывают, прежде чем... Прежде чем что? Страх собирался в комок, и комок бился в горле подбитым из рогатки воробьем. Что он сделает с тобой, девочка? Он, мужик и издеватель, вдесятеро сильнее тебя? Ты даже не сможешь закричать – он всунет кулак тебе в зубы.

И я действительно не смогла закричать, когда он, испытав меня мукой неведения, тяжело и бесповоротно навалился на меня.

Мое зрение вышло из меня и наблюдало происходящее сверху, из-под потолка с тусклой красной лампой. Мое зрение видело: девочку рвут грубыми руками надвое, и мышцы над локтями мужика бугрятся; она бьется; пытается вырваться; ее придавливают всей тяжестью мужичьего тела к железной панцирной сетке ходящей ходуном койки; чужие зубы кусают ее грудь; ей больно, она хочет закричать, и волосатый кулак влезает в ее распяленный рот, чтобы заткнуть рвущийся наружу крик, и бедное зрение безучастно, отдельно от тела, продолжает видеть, как торчат, по обе стороны подпрыгивающей, страшно колышавшейся мужской туши нежные и тощие девчоночьи ноги – ах, худая ты, курочка, плохо в Воспитательном доме кормят тебя. Кому ты когда понравишься. Да никому. Благодарю Бога, что этот битюг и мучитель избавил тебя навсегда от веры в любовь. От мечты о счастье.

Зрение видело копошенье двух тел, но не слышало стоны. Я плакала. Слезы медленно стекали по моим щекам, красные слезы, красные капли. Боль внутри меня росла и ширилась. Черная простыня была вся в каплях красных слез.

Воспитатель долго, с отвратительным кряхтением, танцевал на растерзанной мне животе, ребрами, руками и ногами. Отросток внизу брюха Воспитателя, сделавший мне больно, я хотела оторвать, после того как он, сопя, вскочил с моего распятого тельца и стал заправлять черную рубаху в черные брюки. Я протянула птичью лапку руки, схватила воздух. Воспитатель отпрянул, больно ударил меня по руке кулаком.

– Ишь, что задумала, стервочка, – злобно сказал он. – Ты думаешь, ты тут последний раз? Ты еще потанцуешь мне тут всякие танцы. И твои мерзкие подружки тоже. Видишь ли, – он приблизил свое поганое, пахнущее чесноком лицо к моему, – я могу только с вами, с девочками. А с большими взрослыми бабами не могу. Я на вас падок. До вас лаком. Будешь послушной, хорошей танцоркой – куплю зимнюю шубу. Будешь дрыгаться, пытаться укусить – проходишь зиму в кацавейке. Знаешь Жаклин?... Она плюнула мне в лицо. Она ходила всю зиму в холщовой робе, в самые холода. Знаешь, что с ней?

– Что? – глупо спросила я. Мое зрение возвращалось ко мне, в мое тело, под мой исцарапанный ногтями Воспитателя лоб.

– Она умерла. Скоротечная чахотка. Двустороннее крупозное.

– А вылечить?...

– В Воспитательном доме врача не держим, – насмешливо сказал мужик, поднялся над койкой во весь рост и пнул меня коленом в голый живот. – А ты ничего курочка. Танцевать научишься. У тебя пока фантазии маловато. Деревенщина. Поганка восточная. Мы, Эроп, обучим тебя всему. Будешь плясать и фанданго, и фарандолу, и фламенко, и жигу, и ригодон, и контраданс, и тарантеллу, и карманьолу. Как миленькая. С горящими глазками. С улыбочкой на устах.

Он ткнул меня пальцем в пупок.

– Пришлю к тебе татуировщика, пока ты здесь лежишь и очухиваешься. Твой пупок похож на глаз. Пусть он выколет тебе на животе третий глаз. Будешь им шуриться и моргать на всех своих будущих любовников.

Он хрипло рассмеялся, вышел и резко, со звоном, хлопнул железной дверью.

Татуировщик, толстый, одышливый негр, не замедлил явиться. Он привязал меня к кровати за руки и за ноги – обмотал запястья и щиколотки веревками, крепко прикрутил к нике-

лированным прутьям. Я орала. «Ори сколько хочешь, – бросил татуировщик небрежно, – здесь все равно бетонные стены.» Он вынул из котомки баночки, пузырьки, набор игл, лупу, очки, бутыл с неведомым черным раствором.

Когда он наклонился надо мной и стал наносить рисунок Третьего Глаза мне на живот, я стала извиваться, как змея, и плевать ему в рожу. Пусть я тоже, как Жаклин, заболею чахоткой и умру! Мне все равно! Ты не нарисуешь на мне Глаз! Ты убежишь отсюда сломя голову со своими дьявольскими баночками и иголочками!

Жирный негр размахнулся и ударил меня по щеке. Челюсть свихнулась у меня на сторону. Голову разодрала надвое дикая боль.

Так, со свернутой челюстью, не глядя на мое залитое слезами лицо, татуировщик и выколлот на моем животе мелкими и длинными иглками Третий Глаз – на всю оставшуюся жизнь, плюясь, чертыхаясь и хрипя, стараясь вовсю, ибо Воспитатель ему хорошо заплатил, – всаживая иглы мне под кожу с изуверством и жестокостью истинного мастера, трудясь в поте лица, насвистывая сквозь зубы карнавальные песенки, – бедный кафр, он был всего лишь раб, как и я, он выполнял приказание, он покупал хлеба и мяса на деньги, что заплатили ему за мой исколотый чернильными иглами девчоночий живот. Закончив работу, он промокнул мне пузо обрывком моего разодранного платья и засмеялся, переводя дух.

– Давай подбородок тебе поставлю на место!

Он рванул мне вывихнутую челюсть, вцепившись в нее обеими руками, так, что искры посыпались из глаз моих, исчезая в кромешной тьме бессознания.

Воспитатель уводил Мадлен в черную комнату часто. Приступы похоти накатывали на него внезапно. Она измучилась. Она задумала бежать. Побег был неосуществимой мечтой многих девочек в Воспитательном доме. Никто из девочек не знал, куда потом, повзрослев, исчезают воспитанницы. Ходили слухи, что их продавали на содержание богатым дядькам, в веселые дома; кое-кто поговаривал, что особо здоровеньких и крепеньких увозили в больницы, и там... Что там, договаривать боялись. Делали круглые, страшные глаза. Прижимали палец ко рту. Острые скальпели, разрез, еще разрез, красные полосы, багряные разводы... бьющиеся в резиновых руках, свежие, молодые потроха... За это платят большие деньги. Очень большие. Какие? А вот тебе никогда не догадаться, какие. Ты и цифры-то такой не знаешь.

А если знаю?...

Ну, скажи!.. Ну, скажи!..

Сто тысяч миллионов миллиардов. Вот сколько.

Сцепленные намертво зубы, мрачный взгляд. Она, хорошенькая, не подозревающая о том, что ее славянские русые волосы отрастают густо и выются крупными кольцами, охватывая золотой шапкой гордую голову, что у нее ярко-синие, как январское небо в солнечный день, глаза – как зимнее, ослепительное небо над сугробами, над золотыми куполами белых родных церквей, над голубыми, клюющими семечки на грязном снегу под ногами у рыночных торговков, у офицеров со строгой выправкой, у старых монахов с котомками за плечами... – в Воспитательном доме не было зеркал, чтобы девочки не разбили их нарочно и не подобрали осколки, используя их вместо ножей, – воображала себя угрюмой и злой старухой, так насквозь прочернула ее душа. Молодость пыталась брать свое. Они придумали праздник, карнавал. Воспитателю не скажем!.. Тайком, под подушками и простынями холодных палат, пропахших хлоркой – полы уборщица мыла всегда с порошками, во избежание зловерной заразы: культура Эроп!.. – мастерили и прятали маски, вышивали их «жемчужинами» и «сапфирами» – похищенными в каптерках канцелярскими кнопками и отодранными от халатов и лифчиков пуговицами и крючками. Шивали из дырявых простынок, разрывая их на лоскутья, к вящему отчаянию лысой кастелянши, царские наряды – атласные накидки, горностаевые мантии.

– Мадлен... а Мадлен... Слышишь... Я придумала еще одну маску...

– Какую?...

– Лисью... я хочу сделать себе маску лисицы... Ведь из лесу в Рождество приходят лисы, волки и медведи... они садятся вокруг Санта-Клауса и Люсии, под елку, и прямо к их мордам ставят трехслойный торт, украшенный горящими свечами...

– А сколько свечей нужно?...

– Тс-с-с... Тетка Эрих идет!..

– Мимо двери прошла...

– ...столько, сколько лет от Рождества Христова мы празднуем...

– А елка у нас будет, девочки?...

– Господин Воспитатель пообещал...

– Фью-у-у-у... Он с нас за эту елку... – злобный хохоток, смех... – три шкуры в черной комнате сдерет!

Девочки, все до единой изнасилованные Воспитателем, содвинули русые, каштановые, черные головки над мятыми простынями и верблюжьими вытертыми одеялами, над корзинами с грязным бельем, над дожелта выскобленными уборщицей половицами.

В руках мелькали иголки с нитками, обрезки бумаги, штапельные и холщовые лоскутки. Той, кому удавалось раздобыть в недрах Воспитательного дома бархатный лоскуток, завидовали черной завистью.

Мадлен не шевелилась, глядя в черное, просвеченное ночными уличными фонарями пространство мертвой палаты.

Она думала: вот она убежит, вот ее обнимет свобода, и она навсегда забудет ненавистный Дом, койку в черной комнате, надсадные крики тухлого раздатка.

– Куда ты глядишь, Мадлен?... Очнись!.. Я тебя еще раз спрашиваю: как ты думаешь, в какой одежде ходил царь волхвов?... Ну, волхвинный царь, который привел волхвов к хлеву, где рожала Мария?...

– Не знаю... откуда я знаю...

– Зато я знаю! – Гордый, надменный шепот, горящие во тьме радужки веселых глаз. – У него была белая борода, он был старик, и носил золотую корону, а одежды у него были пошиты из нежно-голубого атласа и синего бархата, расшитого жемчугами!.. Потому что он был еще и звездочет, и наряд себе сшил цвета звездного неба!..

Звездное небо. Оно есть. Оно за каменной, железной стеной ее отроческого ужаса. Оно никуда не девается. Память выбили из нее смертным боем, но она помнит еще краем сознания, что над снегами ее родины сияло и переливалось всеми огнями радуги подобное звездное небо. Плащаница мира. Покрывало Создателя. А мир вправду создан из ничего?... Тьма была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами.

– Эй, Мадлен!.. Дай-ка мне иголку вон из той коробки!..

Она выцепила из коробки иглу с ниткой, протянула подружке, и ее замутило – она вспомнила, как трудился, сопя, негр над ее животом, втыкая под кожу иглы, и она кричала, надсаживая глотку, а он ронял на ее искусанную Воспитателем голую грудь слюну.

– Девчонки... Мадлен плохо!..

Крики вдоль по коридору. Топот. Беготня. Ее несут, держа за руки и ноги – носилок нет. Бросают на койку в каптерке, наспех приспособленной под лазарет. Хваленая Эроп, где же твои врачи? Кому врачи, а кому и рвачи. Из-под нее то и дело вытаскивают окровавленные тряпки. Мутное море забытья. Боль внутри раздираемого железными штырями и ложками брюха. Ее брюхо – кастрюля, из которой хлебают красный суп большими столовыми ложками. Плещут ополовником. В деревне ставили миску на стол, и, пока отец не зачерпнет, дети не могут и пикнуть.

Девочки едва успели запрятать свои поделки к празднику.

«А вы знаете, что с Мадлен?...» – «Это самое.» – «А она уже не встанет на ноги?...» – «Если ее кормить красной икрой, может быть, и встанет...» – «Девочки!.. Давайте раздобудем красной икры!.. Ее продают в магазине на Кроссенмаль...» – «На какие шиши ты купишь ей икры?! Ты дура, что ли?!..» – «Украдем. Стащим... у господина Воспитателя... из кармана... когда она нас снова... будет...»

Они так и сделали. Деньги были добыты. Икра была куплена. Девочки по очереди прокрадывались в нищий лазарет, где лежала белая как мел Мадлен, то и дело проваливающаяся в пропасть жара и бреда, и, боясь и крестясь, поминутно оглядываясь на скрипящую дверь, прислушиваясь, как волчата, к шагам в гулком коридоре, кормили ее с витой чайной серебряной ложки, похищенной у кастелянши прямо из чайной чашки, отборной, крупной кетовой икрой, и каждая красная икринка блестела, как ограненный рубин, как турмалиновый крохотный кабашон, и Мадлен глядела на нее бессмысленно, и глотала с ложки сверкающие яхонты, и две слезы однажды выкатились из ее уставленных тупо в пространство глаз и растаяли в комках тряпок и перьях подушек.

Оправившись после выкидыша, она стала продумывать побег. Любая задумка – ничто в сравнении с великой волей и счастьем случая.

И случай подвернулся.

За обнаруженный у нее под матрасом кухонный тесак она опять попала в карцер. Она хранила нож, как древние воины хранили меч – до поры, чтобы, когда грянет гром, вытащить его и взмахнуть им от всей души. Номер не прошел. Кастелянша, вытряхивая матрац в поисках вшей и клопов, наткнулась подслеповатыми глазами на нечто узкое, серебристо-блестящее, как засоленная вобла или вяленая чехонь.

– Нож!.. Под подушкой у Мадлен нож!..

– Ее упрячут в карцер...

– Сегодня же праздник, тетенька кастелянша!.. Сегодня Сочельник!.. Завтра Рождество!..

Позвольте ей остаться с нами на праздник!.. Вы с господином Воспитателем возьмете ее в карцер сразу после елки!.. Господин Воспитатель сам притащил нам елку, поставил в крестовину!.. После танцев он может делать с Мадлен все что хочет... но на Рождественскую ночь... оставьте нам ее, пожалуйста!..

Бессердечие непредсказуемо, так же, как и милосердие.

Мадлен было разрешено остаться с товарками на праздник.

– Святая Ночь, – смешливо выплюнул Воспитатель и плотоядно поглядел на Мадлен. – В такую Ночь надо, конечно, веселиться. С одним условием.

Он помолчал. Вытащил из кармана сигарету, прикурил, затянулся. Сверкнул в Мадлен щербатыми зубами.

– Ты должна будешь плясать как угорелая. До пота. Чтобы с тебя стекало в три ручья. Чтобы ты была мокрая как мышь. Я еще не пробовал мокреньких. Гладеньких. Скользких, как улитки. Будто ты бежала, как гонец, и задохнулась. И упала. А я римский воин. И я приближаюсь к тебе. А ты лежишь вся мокрая. И кричишь. И зовешь на помощь. И плачешь. И молишь о пощаде. А я беспощаден. Я беру тебя. Скручиваю руки у тебя за спиной проволокой. Раздвигаю твои худенькие бедра. Ты мала и мокра, а я огромен и неистов.

Мадлен казалось, что его губы вывернулись и побагровели в жадном слюнном блеске.

Она поспешно кивнула головой, слушая вполуха, соглашаясь со всем, что бормотал он, исходявший желанием.

И праздник начался.

Из столовой принесли пироги с капустой и вареньем. Возложили на составленные рядами столы. Зажгли много маленьких свечек и воткнули их в пироги со всех сторон. Сдвинули койки полукругом, чтобы удобнее было танцевать вокруг елки. Ель возвышалась посреди палаты,

черная, колючая, печальная, как их жизнь. Они расцветили черную жизнь разноцветьем ленточек и тряпочек – самодельный серпантин обвивал колкие нищие ветви, шары, слепленные из пластилина и белой глины, тускло мерцали среди еловых широких лап, куклы, любовно сварганенные из бархатных и холстинных тряпиц, качались на сквозняке, прицепленные грязными нитками на еловые иглы, и по всей бедной ели горели свечи, основаниями прилепленные к веткам – крохотные теплые огоньки, нищенские, бедняцкие, зовущие улыбаться сквозь слезы, сами похожие на слезы, дрожащие и стекающие по черным от горя щекам, на горящие во мраке детские глаза. Кастелянка, уборщица и столовские раздатчицы довольно потирали руки: ни монеты не затратили они на украшения! Какая экономия! Как разумно мыслят воспитанные, ухоженные в Воспитательном доме дети великой Эроп!

Принесли старый патефон, обтерли от пыли дурацкие пластинки. Черный диск вертелся, хриплая невнятная музыка раздавалась под сводами погруженной в праздничную тьму и кутерьму палаты. Девочки бегали вокруг столов со стоящими в кольце огней праздничными пирогами, взявшись за руки, скакали вокруг усаженной горящими свечами елки: наша елка! Наша! Мы сами ее нарядили! Мы сами ее сделали! А завтра будь что будет! Пусть нас снова мучают! Пытают! Воспитывают! Сегодня мы – Санта-Клаус, Люсия! Красная Шапочка, Снежная Королева! Давайте веселиться! Давайте плясать! Господин Воспитатель, а вы что там скорчились в уголочке?!.. Идите сюда! Давайте танцевать с нами!.. Ну же!.. Хватайте нас за руки!.. И Ирэн, и Мадо, и Веро, и Марго, и толстушку Круассан, и... где же Мадлен?... Ее оставили с нами на ночь?... Да, разрешили! Завтра ей ух, достанется!.. Где?... В карцере или в черной комнате?... Бросьте вы про черную комнату в праздник!.. Делать вам нечего!.. Пляска!.. Пляска!.. Тетка Эрих, смените пластинку!.. Эта нам надоела!.. Слишком заунывная мелодия!.. Поставьте знаете какую?... Ту, где Марианна Росс поет: «Как когда-то с моей Лили, как когда-то с моей Лили...» Это высший класс!.. Вот она!.. Ну, вперед!.. Елку не уроните, дуры!.. Пожар устроите!..

Девочки взялись за руки и кружились вокруг елки. Кто-то спотыкался, падал, прикусывал губу до крови. Музыка гремела. Песня про мою Лили грохотала под потолком, вилась вокруг наряженной елки блестящим смерчем. Девочки танцевали до упаду. Задыхались. Их красные лица вспотели. Им хотелось танца, но хотелось уже и пирога. А музыка все бушевала. Ей не было конца. Буйство музыки было невыносимо. Девочки хохотали, кружась, как очумелые. Елка тряслась. С нее на пол падали свечи. Гасли. Мадо выкинула коленце, задела ногой еловую лапу, и с ветки на пол с грохотом и звоном свалилась громадная золотая звезда, разлетевшись на тысячу осколков; обломки засверкали в мареве Рождественской ночи, как драгоценные дары волхвов, пришедших поглядеть на младенчика, Бога своего.

– Мадо, Мадо!.. Кто из нас Каспар!.. А Бальтазар!.. А мальчики к нам из колонии на праздник приедут?..

– Тебе бы все о мальчиках, потаскушка!.. Завтра!.. В само Рождество! Господин Воспитатель клятвенно обещал!..

Кружение. Блеск. Хруст раздавленных хрустальных осколков под башмаками, под обтерханными невымытыми туфельками.

– А Мадлен в карцер, что ли, посадят?..

– У нее нож под кроватью нашли... Трам-пам-пам!.. Пам-пару-рам!.. Быстрее, быстрее кружись, Марго, неповоротливая кляча!..

– Может, она этим ножом...

В танце – наклон к розовому, вспотевшему уху подружки. Горячий, сбивчивый шепот.

– ...но ведь это грех!.. Себя!.. Ножом!..

– Ты в Святую Ночь о грехе не говори... Души волхвов рассердятся...

Музыка гремела и ярилась, хрипая песня про мою Лили заводилась в тысячный раз. Натанцевавшие бросались к столу, под прицельными ледяными взглядами надсмотрщиц отрезали куски пирога, заталкивали себе в рот, причмокивали.

– Веро, а где Мельхиор?... Кто у нас переодет Мельхиором?...

– Вон, вон!..

Мельхиор выбежал из тьмы на свет свечей. Лоб и затылок его были обмотаны отрезом холстины, выкрашенной свекольным соком в бордово-малиновый, ядовитый цвет. В мочках ушей мотались слепящие фольговые сережки в виде изгибающихся змей. С самодельной чалмы на брови свешивалась усыпанная приклеенными блестками бумажная звезда. Полосатый халат весь был усажен блестками на клею, вырезанными из шоколадной обертки.

– Мельхиор!.. Какой же ты красивый!..

Восхищенные вздохи достигали ушей «Мельхиора». Он польщенно кланялся. Кашлял в ладошку. Вздергивал бородой – к подбородку девочки была приклеена обмокнутая в белила расхристанная мочалка.

– А где же наш младенец Иисус?! – возгласил «Мельхиор» басовито и тут же заблажил тоненьким тенорком:

– Здесь он!.. Здесь, милый царь-государь волхв!.. Спит в корзиночке!.. Рядом с ним мычат коровы, козочки блеют...

– Где, где, покажите?... – снова натужный бас.

И опять верещанием:

– Да вот Он лежит, царь-государь!.. Глазки закрыл и дремлет!.. Тихонький, хорошенький такой...

– А кто его мать?... Где она?... Покажите мне, я хочу ее вознаградить за то, что она такого чудесенького ребеночка родила!..

«Мельхиор» озирался вокруг, шаря за пазухой, оттопыривая усыпанный блестками халат. Вот она танцует вокруг елки, его мать. Уже не взяв подруг за руки. Уже одна. Кружится, запрокинув голову. Закрыв глаза. Пот льет с нее ручьем. Заливает ресницы, губы. От ее распаренного тела идет жар. Она одна без маски. Все в масках – волхвы, пастухи, Санта-Клаус, гномы, Белоснежки, клоуны, разбойники, пираты; она одна со своим, голым лицом. Беззащитная. Как красиво ее лицо! Румяно! Говорят, ее пленную привезли из далекой страны. И она забыла родной язык. И полюбила Эроп. Чужбина стала ее родиной. Чужбина! Божья Мать с мужем тоже убежали на чужбину. Мария ехала верхом на осле. Младенчик, завернутый в тряпье, спал у нее на руках. Как ты хорошо танцуешь! Без усталости! Отдохни! Еще напляшешься!

– Вот она, Мать Божья!

– Мадлен!.. Мадлен!..

– Это Мадлен!

Девочки в масках и в костюмах волхвов, воинов, пастухов и цариц ринулись к ней, одиноко танцующей, и схватили ее – кто за руки, кто за ноги.

– Мадлен! Ты Божья Мать! Садись под елку! Сейчас тебе ребеночка дадут!

Все плыло перед глазами – черные еловые ветви, унизанные шарами и орехами, пироги, стаканы с питьем, столы, колченогие стулья, стены с портретами вождей Эроп, кляксы чернильных фотографий, пестрота самодельных ярких костюмов, маски, расшитые кнопками и гвоздями, взвихренные юбки, ножки в грубых чулках, тяжелые башмаки, пылающие во тьме щеки и глаза в прорезях холста и разрисованного картона, и она не помнила, как ее усадили под ель; она слышала свое частое дыхание. Воспитатель любит мокрых и скользких – помнила она. Зачем отыскивали нож у нее под матрасом?

Ей в руки всунули тяжелый сверток. Бревно там, что ли?... Вместо пеленок – ветхие девчоночьи панталоны, вот смех. А может, Он живой?... Она держала поддельного Младенца неуклюже и нежно, как настоящая мать – первенца.

– Ого, Мадлен, с тебя хоть картину пиши!.. Правда, похожа?... На ту, в костеле?...  
– Как две капли воды...  
– Эй, Мадленка, скажи Ему что-нибудь!.. Спой Ему песенку!.. Колыбельную!..  
Она набрала в грудь воздуху и запела.  
Должно быть, она натанцевалась слишком, и голова у нее перегрелась.  
Что-то случилось с ее головой.  
Она запела на своем родном языке. Забытом ею напрочь и навсегда.

\* \* \*

*Милый лес, милое поле. Какой яркий день! Больно глазам! Я иду с матерью в храм. Мимо рынка иду. О, сколько вкусной снеди здесь!.. Разрезанные семги, бараньи окорока, круги застывших на морозе сливок – они похожи на серебряные колеса, отломанные с царских колесниц. А Царь-батюшка проезжал уже, мама?... – спрашиваю я мать, – ехала ли Царская повозка этой дорогой?... Нет, мать отвечает. Скоро он поедет навстречу нам. И ты увидишь его.*

*Я увижусь Царя! Я увижусь Царя! Вот счастье! Вот радость!.. Как я молюсь за Царскую Семью всегда. Как я Их всех люблю.*

*А сколько дочерей у Царя, матушка?...*

*А пять дочерей, ласточка, и еще Цесаревич, брат.*

*А почему пять, матушка, ведь четыре сестрицы?...*

*А об этом ты после узнаешь, доченька.*

*Мы идем по слепящему снегу. На рыночных лотках – и чеснок, и рубиновая морковь, и изумруды петрушки, и соленья, и варенья в банках, и ягоды глядят сквозь тусклое стекло, как тигриные глаза сквозь чащобу. Бороды торговцев синеют от кружев инея! Какой мороз! О, как же я люблю зиму! Нашу прекрасную, ядреную зиму, когда чистый алмазный снег резко хрустит, поет под каблучком, искрится каждой малой гранью, всякою снежинкой... С церковного купола взмывает ввысь над площадью, запруженной нарядно одетым народом, стая ворон. Вороний грай в густо-синем небе! Взгляд теряется, тонет в выси. Какая синяя бесконечность! Как сладко потонуть в ее беспредельности!*

*Не гляди в небо долго, дергает меня за рукав мать, голову потеряешь. Улетишь в небо, как ворона!*

*Я не ворона, я...*

*Ах ты, мой воробей!..*

*Мы идем дальше, ноги наши болят. Храм уже близко. Под Солнцем рыжим огнем горят его начищенные к Рождеству купола. Мы с матушкой всю Рождественскую ночь простояли в храме. Молились. Зажигали свечи. Крестились на высокие, темные, мрачно горящие золотом, чернью, багрянцем, суриком древние иконы. Золотые буквы светло восходили над Царскими Вратами: ХРИСТОСЪ БОГЪ НАШЪ РОДИЛСЯ. Матушка, а почему Врата – Царские?... Да потому, что Христос – Царь наш. И Царь Небесный. Он нашу землю, родину нашу, в рабском виде исходил, благословляя каждый куст, каждую речную излучину. Каждую нищенку у рыночных врат. Каждого Царя, венчающегося на царство.*

*Хочу Царицу увидеть!.. Как я ее люблю!.. Мама, а она красивая?...*

*Красивая. Как белая лебедь. Шея у нее лебяжья, вся в жемчугах.*

*А Царь наш умный и добрый?...*

*Умнее нет, добрее нет... Помолись за него, доченька... Он тебя не забудет...*

*Гляди, гляди, повозка!.. Полозья по льду скрипят! Карета на бок заваливается! Кони храпят, несут, потом медлят, огибая сугроб, роют копытом снег! А Солнце припекает так, что снег на пригреве плавится уже по-весеннему. Мама, это они!.. Мама, купи мне на рынке*

маковую булку... И еще я севрюги хочу... и черной икры... Замороженной такой, скатанной в черные липкие хлебы и караваи... Хоть ломоть!.. И сами поедим, и Царя угостим...

Он тебя сам угостит, дуручка!.. Каких только яств у него за столом ни подают...

А мне не яства его нужны, мама. Мне сам он нужен, сам, понимаешь?... Его ясные глаза; его мудрая речь; его добрая улыбка; его рука, кладущаяся на затылок мой; его жизнь. Вот он едет в повозке, живой! Целый, невредимый! Красивый! Властный! И все в его руках: и родная страна, и любовь, и дети, и будущее, и горе, и счастье. И я, малая птица, тут мельтешу под его ногами...

Ну, останови Царский возок! Ну!..

Я бросаюсь наперерез лошадам. Они ржут, встают на дыбы. Кучер натягивает возжжи. Сто-о-о-ой!.. Тру-у-у-у!..

Ваше Величество, тут попрошайка под ноги коням бросилась! Сумасшедшая, видать!.. Отогнать ее кнутом?!..

Дверь возка распахивается. С приставной лесенки спрыгивает он. Царь Всея Земли нашей, Великия и Малыя и Белья и Святыя.

Девочка!.. Бедная... Что тебе надобно?...

Царь наклоняется ко мне, маленькой, и я вижу совсем близко его лицо.

Прозрачные синие глаза. Такие же, как мои. Я свои глаза видела в бане, в старом осколке зеркала со стершейся серебряной амальгамой; в зеркале, заляпанном мылом, с прилипшими еловыми и пихтовыми иголками, я увидела свои синие глаза, которые матушка называла ласково «сапфирчики». У Царя такие же. Я улыбаюсь его глазам. Он в ответ улыбается мне, и над его губами я вижу пышные, лихо закрученные усы, усы-усищи, как у котича, и меня обуревают внезапное озорное желание – накрутить роскошный ус на палец и дернуть.

Ах, девонька!.. Дать тебе денежку?..

Царь роется в кармане, вытаскивает из недр одеяния большой и круглый рубль-империял и протягивает мне. Я беру как зачарованная.

Нет, не деньгу мне надо, милый Царь.

Все, что ни пожелаешь!..

Он шире улыбается мне, и я вижу блеск его радостных глаз, блеск его белых, как снег, зубов в улыбке.

Я желаю... я хочу...

Затаила дыхание. Матушка рядом со мной склонилась в поклоне. Не смотрит на меня. Думает: ах ты, дерзкая девчонка, к самому Царю пристаешь!.. Что ж с тобой дальше-то в жизни будет?...

А сама довольна: получит, получит доченька Царское благословение.

Царь наклоняется еще ближе и подхватывает меня на руки.

Девочка-девочка, что на меня так смотришь?... Иди ко мне в дочки!.. Ежели мамка тебя отдаст!..

Его взгляд метнулся на мою мать, согбенную в поклоне.

Она выпрямилась, и Царь отшатнулся, вздрогнул и заслонил лицо рукой.

Они оба застыли в безмолвии. Глядели друг на друга.

Из повозки выскочила сначала одна кудрявая девочка, потом другая, затем третья, четвертая... лица у них горели темным румянцем, глаза синели неистово, за ними слез грустный мальчик в бобровой шубке, глядел на меня, сидящую на руках у Царя, исподлобья.

Дети! Дети! Это ваша...

Кто?!

На лесенке кочевой кибитки показалась дама в манто из голубых норок; манто было распахнуто, и на декольтированной груди мерцали ожерелья из отборного жемчуга Карибских и Антильских островов. Удлиненные глаза дамы удивленно остановились на мне. Царица! Я

поняла: она испытывала меня. Она глядела на меня, как глядят верующие в церкви на потир с причастием, на крест в руках священника. Царь крепче прижал меня к себе. Я обняла его рукой за шею и приникла щекой к его усатому лицу.

*О, как вы похожи.*

*Как похожи вы, как две капли воды в синей ледяной реке.*

*Царица медленно поднесла белую полную руку ко лбу и медленно перекрестилась, не отрывая глаз от моего лица.*

*Возьмем ее с собой, Ника?...*

*Если она пойдет с нами, Аля. У нее есть мать.*

*Моя мать стояла рядом с Царем и, не отрываясь, полными слез глазами глядела на него. По ее смуглым румяным щекам катились, текли два соленых ручья.*

*«Как ты постарел, любимый мой. Как процарапало Время тебя острым когтем.»*

*«И тебя пожрал огонь дикого костра, любимая моя. И тебя истрепал на ветру Времени жестокий ветер. Я не могу взять тебя с собой во дворец. Цари не вольны в себе, ты знаешь это. Как живет тебе на земле без меня?...»*

*Я молчала, сидя на локте у Царя. Молчали дети. Молчала Царица. Молчала моя бедная, тихая мать, с головою, замотанной в шерстяной черный платок, закутанная в штопанную на локтях куцавейку, обутая в кожемязину расхлябанных, истасканных дорожных сапог. Кто тебя так нарядил, милая?... Жизнь. Моя жизнь. А у тебя, любимый, – своя. Живи ее. Живи своей жизнью. Умри своей смертью. Меня не впутывай.*

*Об одном прошу: помолись за меня.*

*Я за тебя уж молюсь.*

*Царь бережно опустил меня на землю. Солнце било в наши молчащие лица. Солнце купало нас в золоте, серебре, синеве, радости.*

*Святки приближались, и сани шуриали и звенели полозьями вокруг нас, и торговцы рассыпали на лотках мороженую ягоду бруснику, расколотую надвое острым топором огромную рыбу осетра, и голуби слетали с широких небес и клевали зерно, тыквенные семечки, хлебные корки и крохи у нас под ногами, и шли к обедне в храм прихожане, и гремели кареты, и свистели свистки городских, и лоснились лошади чисто вымытыми, выхоженными гнедыми и вороньими холками и крупами, вертели дерзкими хвостами, и грелись ленивые, оббевшие рыбы, коты на свежераспиленных бревнах, и шел по рынку князь под ручку с княжной, а усатый офицер с ледяным взглядом придирчиво выбирал, складывая в корзину, красных, как маки, вареных раков – к пиву, должно быть; и так велик и сияющ был чудный Божий мир, так сверкал он всеми ограненными краями, что сердце у меня захолонуло, и я подняла голову к Царю и закричала громко: Царь, а Царь! Не бросай меня! Возьми с собой меня и матушку мою! Будем служить тебе верой и правдой! Будем любить тебя! Твоих детишек! Твою славу, прелестную жену! Я буду любить ее, как мать, ухаживать за ней, лелеять ее... Гляди, какие у нее несчастные глаза... И мать моя тебе, Царь, тоже пригодится – ты не гляди, что она плачет-заливается, она не всегда ревет, она и дела делать тоже может, и пошьет, и свяжет, и печь растопит, и дров наколет, и полы чисто намоет... и за скотиной умеет ходить... и птицу на кухне ощипывать... и раны больным и увечным перевязывать... вату из корпии щипать, бинты сматывать в трубочку... бусы низать... броши из речной гальки да из перловиц-беззубок выдeldывать... много чего мама моя умеет!.. ты полюбишь ее, Царь, не отталкивай нас, Царь, возьми нас... спаси нас...*

*От чего нас надо было спасать?*

*Гроза и горе висели в солнечном воздухе. Невидимые. Неслышимые. Страшные.*

*Кучер осадил взметнувшихся было опять на дыбы коней.*

*Поехали, Аля, Тата, Руся!.. Леша, живо в повозку!.. Стася, застегни шубку, простудишься... Леличка, не гляди на Солнце, ослепнешь... ты не индийский йогин... глазки сгорят, и их у тебя изо лба ножичками вырежут...*

*Та, кого назвали Леличкой, заплакала басом, обняла колени отца и уткнулась розовым личиком ему в полы собольей шубы.*

*Они исчезли все во тьме повозки, в ее потрохах. Скрылись. Как они уместились там все, в тесноте, во мраке? Будто под землей?...*

*Кони задрожали и потянули. Кучер хлестнул блестящие спины бичом.*

*Нно-о-о-о-о! Пошел!.. А ну, уйди из-под конских ног!.. Пади!.. Пади!..*

*Мать моя и я стояли и глядели, как они едут прочь от нас. Как кольшется зад расписного, с царскими вензелями, возка по слепящей снежной дороге. Как бьют по крыше возка ветки осокорей и вязов, осыпая снежные комья.*

*Как синее над пропадающим в белизне дальнего пути возком широкое небо, мое родное небо, мое единственное, великое небо.*

\* \* \*

– Мадлен!.. Что за тарабарщину ты тут несла?...

Оглушительный шепот врезался ей в оглохшее ухо.

Она очнулась. На ее руках лежало бревно, завернутое в драные грязные панталоны. Стала оглядываться беспомощно, жалко. Ее глаза, просили, умоляли. Никто не говорил ей, что случилось. Кастелянша рачьими выпученными зенками пялилась на нее, как на дикого зверя в клетке.

– Я... кто я такая?...

Язык ненавистной Эроп мало-помалу возвращался к ней.

– Ты?... Ты сейчас Божья Мать. Ты только что родила маленького Иисусика... и сидишь сейчас в хлеву, в яслях... покорми его грудью!..

– Может, господин Воспитатель увидит – раздобритя... отменит тебе Черную комнату...

Она расстегнула казенное платье на груди. Нежная, маленькая девическая грудь выскользнула из-под железных пуговиц, ослепила глаза девочек, прислуги, Воспитателя.

Люди застыли в благоговении.

Ангел пронесся над глупыми и умными головами, крыло прощуршало, прозрачным стало темное, мрачное время.

– Ешь, мой маленький, – сказала шепотом Мадлен, толкая сосок деревянному младенцу, – ты родился и хочешь есть. Я спою тебе еще песню. Много песен я тебе спою.

И она вздохнула и запела:

– Я соберусь, обхитрю всех и убегу отсюда!.. Спи, мой маленький, спи, нерожденный... Я убегу из тюрьмы, брошу хлеб на дно сумы... Я буду скитаться, голодать, а ноги мои свободно будут бежать... Хоть в огне нету брода – я сама стану Свободой... я стану Свободой... я стану...

Воспитатель, прищурясь, смотрел на покрытую бисеринками пота нежную грудь Мадлен.

– В карцер ее!

Как, сейчас, в Светлый праздник?!.. Девочки загудели. Обслуга тяжело молчала. Воспитатель вынул из кармана свисток и пронзительно свистнул в него. В палату влетел надсмотрщик, выслуживаясь, с готовностью выпрямился перед хозяином.

– Возьми эту девку и запри в карцере. Ради праздника – поблажка. Там холодно, так ты возьми и натопи.

– Чем? – обалдело выпучился надсмотрщик.

– Бери на кухне жаровню, в которой жарят шашлыки и мясо к моему столу. Набросай в нее углей, разожги огонь. Железо нагреется. Девке будет тепло. А там и я приду.

Он нагло покривился в ухмылке.

Надсмотрщик приблизился к Мадлен, уцепил ее ледяной рукой за руку, резко дернул:

– Ступай! Не хнычь! Украла нож, так неси наказание!

Свобода. Крылатая, сияющая, счастливая Свобода. С улыбкой на устах. С весенним ветром за плечами. Ее волокут по мрачному смрачному коридору, и последнее, что остается в ее глазах, когда она оглядывается назад, – черная елка, шевелящаяся всеми своими украшенными лапами навстречу ей. Елка, продолжай сверкать, я приду. Я вернусь к тебе. Уже на свободе. Меня тащат в карцер и посадят под замок. Стены каменные, двери железные. А я запомню тебя, блестящая живая елка. Пиратов, королей и зайцев, драконов, лис и павлинов, кружащихся в карнавале вокруг тебя. Я возвращусь. Я буду кружиться в танце. Я буду самой красивой. Счастливой. Богатой. Я буду богатой и знатной, и я на свои деньги куплю все, все своим подругам – и пудру, и помаду, и кудрявые парики, и торты от Лучано, и связки ожерелий на тонкие шеи, и золотые и хрустальные туфельки. Золотые... туфельки... я хочу золотые туфельки... я куплю себе такие... у меня будет много денег... там, на свободе...

– Шибче перебирай ногами! Что валандаешься! Сейчас я тебе разожгу... жаровню!.. Ты у меня узнаешь... как ножи с кухни воровать!..

Скрежешет замок. Ее вталкивают в карцер. Ледяной мрак цепкими липкими руками обхватывает ее. Голая лампа сиротливо висит под потолком. Волчий глаз. Так горит волчий глаз в седой заснеженной степи. Волк голодный, он хочет есть, а еды нет. Кто тебе в роскошной жадной Эроп даст еды, степной ты волк?...

Она села на железную скамью – койки в карцере не полагалось – и сидела на краю скамьи с закрытыми глазами до тех пор, пока надсмотрщик, отдуваясь, не приволок из кухни тяжелую жаровню на четырех изогнутых ржавых ногах.

В жаровне тлели угли. Мадлен раскрыла глаза и поглядела внутрь. Красиво мерцают. Вспыхивают. Переливаются то красным, то голубым. Будто набросана груда самоцветов, и кто-то невидимый помешивает их кукольной кочергой.

Надсмотрщик достал из кармана перочинный нож и поворошил тлеющие угли.

Они вспыхнули внезапно и победно.

– Будет тепло, – насмешливо кинул он. – Как в Раю. Карцер Раем покажется. Святая ночка, а?...

Он окинул Мадлен жадным и сожалеющим взглядом – праздничное кушанье, увы, принадлежало другому – и двинулся к двери. Мадлен протянула руку и схватила его за полу пиджака.

– Эй, – сказала она весело. – погоди.

– Что тебе еще?

Он обернулся и увидел.

Она лежала на железной скамье, раздвинув ноги и приподняв подол платья. Надсмотрщику бросились в глаза ее кружевные батистовые трусы. Где она похитила кружева и батист? ... Надо будет донести кастелянше, подумал он смутно, в то время как глаза его воровато блуждали по голому животу, по разметавшимся по черному железу золотым кудрям, по исподу раздвинутых, будто выточенных из слоновой кости бедер; Мадлен оттянула большим пальцем ширинку трусов, и надсмотрщик, покрываясь испариной, видел, как вьется и горит тайное золотое руно, как медленно и темно, розовея, раскрываются створки женской раковины, заставляя его крочиться и содрогаться в муке неутоления. Мадлен, не отрывая взгляда от него, засунула палец в рот, облизала его и медленно погрузила в раскрытую влажную щель, тяжело дыша. Из-под полуприкрытых век в надсмотрщика, поглупевшего вмиг от вожделения, мерцал тусклый, мрачный огонь.

– Ты так хочешь меня?... – выбормотал он, пятясь.

Мадлен ничего не отвечала. Продолжала оттягивать трусы. Кружева сползали талым снегом, обнажая золотой треугольник исподних волос.

– Но, но!.. – закричал он на нее, как на лошадь. – Не балуй!.. Ишь чего удумала!.. Господину Воспитателю скажу...

Она молчала. Палец погрузился в раковину целиком; тонула рука.

Другой рукой она сделала призывный жест: иди.

Надсмотрщик, дрожа и трусая, приблизился к железной скамье.

Она сдернула с себя кружево и бросила в угол каморы.

Все произошло быстрее ураганного порыва. Нутро извергает крик; пахнет перегаром; чужое тело, пронзившее ее плоть, подвыпило в праздник, выкрало чистый спирт из кастаньяншиной каптерки. Ну, все?... Да, это все. И это – все? Сон, ты слишком быстро кончился. Я не успела тебя запомнить. Я запомнила тебя навсегда. Накрепко. Кровью. Нутром.

Запомнила свою плату за свободу – деньгу в виде круглого девичьего живота, белую теплую монету, брошенную в пасть человеческому зверю.

Надсмотрщик, хрипя, слез с Мадлен. Натягивал, застегивал грязные защитные штаны.

– Сука, – бормотнул. – Лежи тут. Если вякнешь кому...

– А сейчас, – сказала Мадлен спокойно, вставая со скамьи, поднимая исподнее кружево и влезая в него ногами, – ты пойдешь вместе со мной на кухню, проведешь меня к черному ходу и откроешь дверь.

– Что?! – расхохотался он. Положил кулак на ручку двери карцера. – Ты соображаешь, что городишь?! Сейчас Господин Воспитатель...

Он не договорил. Рука Мадлен поднялась к щеке. Медленно, так же неотрывно глядя мужчине в глаза, она запустила ногти в белую мякоть нежной девичьей кожи и повела руку вниз, к подбородку. На белизне щеки проступили, сочась кровью, страшные полосы.

– Ну, зови Воспитателя, – сказала Мадлен, беспощадно расцарапывая себе лицо. – Зови всех. Я скажу, что ты меня изнасиловал. Избил. Прощайся со своим рабочим местом. Я знаю, что в Эрроп не так-то просто найти рабочее место. Окажешься на улице. Твои дети будут плакать от голода. Твоя жена проклянет тебя. Будешь просить милостыню. А то Воспитатель прикажет жестоко наказать тебя. Прибить. Ты ведь посягнул на его собственность. На меня. Ну, иди, кричи! Что ж ты не кричишь?

Надсмотрщик забегал глазами. Его лицо напомнило ей мышью мордочку. Ах, хорошо бы ему сделать себе мышиную маску на карнавале. Она никогда не увидит больше девочек. Никогда не скажет им: шейте для надсмотрщика мышиную маску. Никогда не будет хлебать с ними баланду из жестяных мисок в засиженной мухами столовой. Сейчас он выведет ее через кухню к замшелой двери черного хода, и она уйдет отсюда навсегда. Без котомки? Без поклажи?... Имуущество человека – свобода. И широкая дорога. У нее будет много денег. И манто из голубых норок, как у Царицы. Дайте срок. Святая Ночь кончается. Значит, наступит для нее Святой День.

– Веди меня! – грубо крикнула она ему. – Скорее!

Он тупо глядел на ее расцарапанную щеку, взвешивая все за и против. Потом, вздохнув, отворил дверь карцера, ненавидяще кивнул ей: вперед. Делать было нечего. Девчонка обхитрила его великолепно. Стерва. А если погоня?... Бесплезно. Она прицепится сзади к любому экипажу. К конке. К автомобилю. А то и прямо к шоферу сунется. Расплата у нее одна. Она за этим не постоит.

– Иди, иди. Шевели ножками. Дьяволица. А мне что за твой побег будет?! Ты не подумала?!

Мадлен шла впереди надсмотрщика, глядя вперед, в темноту, горящими, как у кошки, широко открытыми глазами. У нее болел живот. Ей хотелось есть. Она так и не попробовала праздничных пирогов с капустой и вареньем. Она не попрощалась с Веро и Марго.

Пройдя в безмолвии клубком мрачных запутанных коридоров, они оказались на пустой кухне, насыщенной запахами гари, подгорелых шкварок, печеного теста, керосина и газа. Молчаливо блестели нечищеными боками чаны и кастрюли. В огромных котлах безмолвными озерами стояла вода. Из незакрытого бочонка воняло кислой капустой. На дне завалилась. Всю выгребли на праздничный пирог.

Они подошли к забухшей двери, обитой ободранной кошачьими когтями черной клеенкой.

Мадлен обернула лицо к надсмотрщику.

– Беги, – бросил он жестко. – Твое счастье. Твоя взяла. Обхитрила. Дай Бог тебе всегда в жизни удачи.

Мадлен смотрела на него. Он смотрел на нее. Они были товарищами по несчастью. Они выкрали друг у друга счастье: она – свободу, он – мужское наслаждение и нищее жалованье.

И она внезапно обняла и поцеловала его – крепко, тепло, по-человечески и по-женски, на прощанье, на радость, в благодарность.

И он, смутившись, прижал ее к хрипло дышащей груди.

На улице, за стенами Воспитательного дома, дул ветер и крутился снег. Зима в Эроп стояла суровая. Обычно в этих краях бывало теплее. В Эроп выращивали виноград и персики, и садоводы безумно боялись подобных холодов – после них сады умирали и возрождались только через год, другой. Мадлен, ежась, побрела по темной улице, потом побежала. Какой дурак в Рождество слоняется по зимнему городу? Кто спасет ее... хотя бы на мгновенье?...

Ей надо пережить мгновенье. Но вся жизнь – это череда мгновений. Замучаешься их переживать. Не надо никогда ждать. Надо жить.

А вот прекрасная повозка! Железная повозка!.. Машина... На обочине... Водитель там, внутри, он дремлет... Она сейчас откроет дверь... Скажет...

Ручка машинной двери была холодна, как извлеченная из могилы кость.

– Господин не скучает? – ослепительно улыбнулась Мадлен.

Мужчина, сгорбившийся за рулем и до появления Мадлен дремавший, встряхнул головой и заспанными глазами уставился на девчонку в бедняцком, порванном на груди и животе платье, в тяжелых немодных башмаках, склонившуюся к двери его машины с недвусмысленной улыбкой.

Он выдернул из кармана фонарик и осветил в лицо уличной гостье. Хороша. Даже не верится. С таким лицом у стойки бара стоять стыдно. Это лицо – для блестящих раутов. Для театральных лож. Для королевских приемов. Для великолепных балов. Для высшего света и великой знати это лицо, а не для заплыванной улицы. Снежная крупка набивается в ее волосы жемчугами. Он криво усмехнулся и распахнул дверцу шире. Подвинулся.

– Влезай, – хлопнул по сиденью. – Куда путь держим?

– Никуда, – маняще улыбнулась странная девчонка. – Куда хочешь. Можно к тебе.

– Кто ты такая?... Ночная бабочка?...

– Вроде, – стрельнула она вбок яркими глазами. Вот это глазки. Каждый по площадке. Синие кабашоны. За один – по сто миллионов вшивых денег старушки Эроп.

– А точнее?...

– Ты слишком любопытен.

– Откуда-то сбежала?...

– А если и так?

Мужчина снял руку с руля, опять залез в карман. В свете фонарика, брошенного на сиденье, сверкнул золотой портсигар.

Мадлен мазнула по золоту портсигара глазами. Улыбнулась. Золото могло быть поддельным.

– Я из-за тебя, красотка, в кутузку не попаду?

– Попадай, – пожала плечами Мадлен. – Мне хоть бы что. Значит, это твоя судьба. Ну как? Вышвырнешь меня снова за борт?...

Она потянула платье с плеч вниз, обнажая плечи. Боже, какие красивые плечи. Царственные. Уличная прошмантовка. Какая зверская красота. Звериная. Дикие изгибы. Сколько ей, чертовке, лет?... И пятнадцати, наверно, не будет. Слишком нежна детская кожа. Груды уже расцвели. Судя по всему, она опытна. Или сумасшедшая?... В бульварных газетенках он читал рассказы про ненормальных девственниц, выбегающих на дорогу и за гроши отдающихся первому встречному, только лишь потому, что те, в кого они были влюблены, не ответили им взаимностью. Она не из их когорты?... Какие умные, лукавые глазенки. Синие, как небо. Почему бы не попробовать.

А может, тебе ее просто жалко, старик?...

Может, и жалко. Она вся промерзла. Она явно дала откуда-то деру. Что ж; пусть он выступит в роли спасителя. Спаситель. Ха, ха. Сегодня же Рождественская Ночь. И он... как некий волхв. Бальтазар. Каспар. Мельхиор. Похож он на них?... Он глянул в узкое машинное зеркало надо лбом, расхохотался про себя. Был еще и четвертый волхв. Таор, принц Мангалурский. Восточный князек. В Индии, что ли, жил. Когда Вифлеемская звезда засияла на небеси, он прознал про то, что Спаситель родился, и пустился в путь – с чадами, домочадцами, слонами, осликами, верблюдами, изукрашенными расшитыми алмазами и яхонтами, с лошадьми в сбруе, отделанной бирюзой и аквамаринами, и на слонах лежали не войлочные попоны – великолепные кушанские ковры с узорами, где были изображены и царь Сарданапал, и царь Соломон, и царица Савская, и... Что он себе под нос болтает?... Он бредит, что ли?... Как сине глядит на него эта уличная дрянь... И вот прибыл обоз принца в Вифлеем, и спешила челядь, и слез с накрытого кушанским ковром умного слона сам Таор, принц Мангалурский, и медленно, держа в руках драгоценные дары, подошел к матери Бога своего, лежащей в хлеву на соломе... и платье у нее было грязное и разорванное на груди и животе – она разодрала его, когда рожала, от великой боли, в бессмысленных криках, чтобы заглушить вечное бабье страдание... и, нагнувшись, низко кланяясь ей, Царице, произнес: вот привез я тебе из далекой Индии ананасы... анкасы, инкрустированные изумрудами и опалами... и на грудь я тебе повешу ярко-красный лал, чтобы издали его было видно, чтобы знали бедные люди: вот идет Божья Мать... Что я себе болтаю... что бормочу... какие глазищи у этой швали... какие сверкающие глазищи... она прожжет меня ими насквозь...

– Ты едешь или нет?

Ее голосок был холоден, глядела она прямо, с вызовом. Наполовину спущенное с плеч платье выказывало безупречные очертания плеч.

Мужчина, тряхнув головой и отгоняя видение, вздохнул.

– Так и быть, спасу тебя, воровка. Что своровала?... – спросил он по-свойски, заводя машину и трогая с места. – Если не секрет?...

– Свободу, – просто ответила Мадлен и подмигнула ему.

Шины зашуршали по заметенной снегом мостовой. Мужчина оказался умелым водителем, bravо рулил, машину заносило на скользких от гололедицы поворотах.

– Ага, значит, драпанула все-таки. Отчаянная ты. Из тюрьмы?

– Вроде того.

– Не много же из тебя вытянешь. И как ты думаешь, я с тобой буду долго валандаться?...

– Давай отъедем как можно дальше отсюда. Тогда поговорим. Спрячь меня у себя.

– А если у меня дом не здесь?... Если я путешествую по дорогам Эроп?... С чего ты взяла, что я проживаю именно в этом городе?... Наивная дура. Я выброшу тебя на первом же повороте.

Его язык болтал одно, а его мысли судорожно текли по иному руслу. Это девчонка – настоящая драгоценность. Только дикая. Без оправы. Он сначала завладеет ею. Кто он такой? Средней руки коммерсант, живущий на тихие и скромные доходы; на семью хватает, а ему хватает еще и на машину, на любовницу и на собаку. Дом в ста милях от поворота, где он подобрал это чудо. Что он может сделать с нею? Еще одна любовница?... Где он ее поселит, эту беднячку?... Надо будет снимать квартиру. Для него это накладно. Думай, думай, голова. Такой красоты во всей Эроп не сыщешь. Эта девчонка может сделать головокружительную карьеру. Нужна умелая рука. Много богаче и сильнее, чем его жалкая, потная ладошка, пропахшая недорогим табаком. Эта девчонка очень дорогая. Недосыгаемо. Неимоверно. Это все равно, что найти в грудe мусора, разрыв ее лапами и когтями, как собака, и тяжело дыша от жадности, крупную розовую жемчужину. С Антильских островов... с Карибских...

Он ее продаст. Придумал. Он продаст ее дорого. Слегка отшлифует. Доморощенным резцом. Отграничит чуток. Оправит. Пусть оправа и не будет выглядеть конгениально. Красота оттеняется уродством грубо вычеканенной меди, железа, металла. Серебро и золото обнимут ее потом. Позже. А сейчас он ею займется. Кустарно. Неловко. Как может. Как позволяет ему судьба.

Что такое женщина, принц Таор?... Как ты считаешь?...

Женщина, дурак мужик, это драгоценная шпинель. Это жемчуг. Это изумруд с берегов Ганга, найденный не тобою, а Богом. Попробуй только его поцарапай.

– Почему у тебя щека поцарапана? Подралась?...

– Да, пришлось поцапаться тут... с одним.

– И ты его здорово... отделала?...

– Да уж как смогла.

Она усмехнулась, вспомнив тяжелое жирное тело надсмотрщика. Скосила синий глаз на руки мужчины, лениво лежащие на руле.

– А со мной драться не будешь?

– Это зависит от тебя.

– Сколько тебе лет?

– Не знаю.

– Почему ты говоришь с акцентом?... Ты что, иностранка?...

– Не знаю. Меня зовут Мадлен.

– Мадлен... грешное имя... много грешила-то?...

Он обернулся и поглядел ей прямо в глаза, продолжая вести машину. Луч фонарика подсвечивал снизу его небритое, в серой щетине, лицо, галстук-бабочку, выбившийся поверх мятого белого воротничка шелковой рубахи, прядь седоватых, перец с солью, волос, лежащих поперек наморщенного лба. Потрепанный мужичонка. Как он испытующе смотрит на нее. Он наверняка что-то задумал. Ну и пусть. Главное – отъехать как можно дальше от...

– Все грехи мои.

Девчонка! Господи, какой ребенок! Должно быть, ее изнасиловали в канаве. Или отчим, связав ей руки за спиной и наобещав конфет и пряников, когда матери не было дома, повалил ее на диван, а она кричала, и ее крик...

– Где ты собираешься жить?

– У тебя.

– Неплохо для начала.

Он помолчал, вертя руль и снова разглядывая ее. Безумно хороша.

Он продаст ее дорого.

Он разбогатеет страшно и внезапно.

В Эроп ценнее денег нет ничего. И такая красота стоит таких денег, что ему не придется больше думать о завтрашнем дне. Он теперь не будет заплетать гроши в косичку, подсчитывать доходы, пристально глядеть в кошелек, считая, выгорит ли нынче у него купить любовнице подарок, а дочке – пуховую шапочку и восточные сладости в чаю. Его уродина дочка любит восточные сладости. За кого он выдаст дочку замуж?! За толстобрюхого рантье? За куртуазного наглого хлыща, пользующего денежки подслеповатого папаши?! Эту красавицу лучше не показывать никому. Пока он едет к себе домой, надо хорошенько обдумать, куда ее спрятать.

Поворот. Еще поворот. Крутой вираж. Машину заносит – гололед. А если они разобьются? Ну уж нет. Он осторожный. Он не должен разбиться, как сервизная чашка. Он должен замечательно пристроить эту шлюшонку, вдоволь натешившись ею. Такой товар в Эроп не может пропасть ни за понюх табаку. В первом же порту над ней надругаются и убьют ее, всунув в рот кляп, портовые грузчики, матросы или угрюмые докеры. Он призван сохранить самородок. Как засверкает она в свете люстр и канделябровых свечей, если ее одеть в желтый шелк, прошитый металлической нитью... в рытый темно-вишневый бархат! Крупные кольца золотых волос... обнаженные плечи... надменный синий взгляд поверх лысых и волосатых голов, поверх обезьян, волчьих ушей, львиных зубов, из которых льется на паркет слюна... эх, девочка, как же ты царишь над ними, так перехитри их всех!.. Восторжествуй!.. Не дай им сожрать тебя... если ты умна – ты будешь сопротивляться... Ты никогда не станешь игрушкой в их масляных руках...

– Где твой дом?

– Ты будешь жить не у меня. Ты будешь жить у моего друга Этьена.

– Как зовут тебя?

– Март.

– Ты в марте родился, что ли?...

– В декабре. Помолчи. Не болтай.

Они больше не произнесли ни слова друг с другом. Молчали все время пути. Промчав по дороге невесть сколько миль, железная повозка замедлила бег около неказистого домика, торчавшего из скопления сугробов прямо у дороги. Они вылезли из тесноты и духоты, и Март позвонил в колоколец, висящий над резной дубовой дверью.

Послышались шаги по лестнице, скрипло поющей на все лады. Задвижка зазвенела, лягнула, и на пороге показался лысоватый человечек, сонно шутившийся на ночных гостей.

– Боже, Март, – пробормотал заспанный хозяин, – а мы уже давно легли. Ели Рождественского гуся... все съели, одни косточки остались... Выпить найдется, пожалуй... Валяй, заходи, если уж приехал!.. А-а! – зевнул. – А это что за гусыня с тобой?... Рождественская курочка?...

Хохотнул. Погладил лысину ладонью. Мадлен заквохтала по-куриному, выставив личико вперед и отключив зад:

– Ко-ко-ко-ко-ко!

– О, да она у тебя с юмором! – расхохотался Этьен.

– И с норовом! – с вызовом произнес Март. Взяв за руку Мадлен, он подтащил ее ближе к факелу, горевшему в сенях над прибитыми оленьими рогами, и повернул ее лицом к Этьену. Тот ахнул, всматриваясь.

– Нет, ты скажи, где видел подобную красоту? – горячась, проорал Март в ухо приятелю. – Я собираюсь...

– Догадываюсь, что ты собираешься, – перебил его Этьен ворчливо. – Девчонка устала от дороги и переживаний. На ней лица нет. Гляди, как бледна. Как мел. Садись-ка ты, детонька, сперва к столу, покушай. Хоть гуся и смололи, зато в погребе остались салаты, жареная минога,

кнедлики, пшеничный хлеб, вареные яйца, молодое вино и старый коньяк. Ты когда-нибудь пила коньяк, детка?...

– Никогда, – помотала Мадлен головой. Ее глаза смеялись.

Добрый человек Этьен. Ты сейчас добрый, да. Каким ты окажешься минуту спустя? Час? Месяц?... Напускной доброты она навидалась с лихвой; люди умело лгали, если им нужно было от нее получить. Взять. Подъехать к ней на сивой кобыле. За вранье всегда берут недорого – она отлично знала это. Этьен не походил на подлеца; сейчас он ее накормит, и это уже будет поступком. Святая Ночь! Святой Этьен! Она сплет за столом песню в его честь.

– Переоденься! Это одежда моей женошки.

Этьен швырнул ей шелковый черный, расшитый гигантскими разноцветными хризантемами халат. Когда Мадлен, сбросив тряпье, завернулась в новую одежду, мужчины присели и присвистнули. Март застыл как вкопанный, не сводя с нее глаз.

В китайском шелковом халате, покрытая вышитыми гладью драконами, соловьями и хризантемами, она гляделась восточной богиней, юной женой богдыхана, случайно залетевшей сюда, на окраину гнилой заснеженной Эроп, подобно птичке колибри. Ее тонкая шейка высывалась из шелкового, в виде шали, воротника гордо и незащитно; шелк облегал тополиный ствол талии, круглую маленькую грудь, точеные, как игрушки из моржовой кости, бедра, обертывался вокруг нежных подвижных рук с перламутровыми изящными пальчиками; для уличной шалавы слишком тонкие у нее были пальчики, слишком прозрачные на просвет, слишком грациозно сужались фаланги к концам и жемчужно розовели подушечки, не привыкшие к грязной поденной работе. А наверняка эта девка работала судомойкой и ворошила на кухне в чанах горы жирной посуды. Что за наваждение!

– Какое породистое лицо, Март, – прохрипел Этьен, напяливая на нос пенсне и вглядываясь в Мадлен, как в редкого тропического жука. – Где ты ее подобрал? Твоя... – он назвал имя любовницы Марта, сморщившись, – ... не будет ругаться?...

– Это не ее дело, – парировал Март. – И не твое. Прекрати на нее пялиться. Давай лучше пожрем чего-нибудь, и правда. У тебя гости, как всегда?

– Немного, – нехотя ответил Этьен. – В гостиной спит Лемур. Он уже надрался в стельку. Ну его. В спальне – известный тебе Сосиссон.

– С твоей женой, что ли, спит? – хохотнул Март.

Этьен беззлобно двинул ему кулаком в бок.

– Знаю я твои шуточки. Эрика дрыхнет в кресле, под фикусом, без задних пяток. Она водила вокруг елки хороводы с Анной и Голубкой. Они все трое крякнули шампанского, наливки, коньяка и свалились. Кто где. А на чердаке почивает Лурд. Он прискакал ко мне на два дня из Пари. Добирался как придется. Ехал без билета в третьем классе. Возникла потасовка с контролерами. Еле вырвался. Потом цеплялся к кому попало. К задкам телег. К каретам. К авто. Стоял в тамбурах пригородных поездов. Денег у него нет ни монеты, как обычно. Я ему одолжил.

– До чего ты добрый, Этьен. Надоели тебе они все, подозреваю, как.

– И ты мне тоже надоел, чертов Март. Садись за стол! Я лезу в погреб. Не жалеешь ты мои старые кости.

Пока Этьен копошился в погребе, вытаскивая наружу корзины с соленьями, салатницы с горами салатов, бутылки с мартини и коньяками трех сортов, Март пристально и жестко глядел на закутанную в шелковый халат Мадлен, и в его глазах она ясно читала оценку: дорогая штучка. Попробуй дернуть от меня куда-нибудь в сторону. Дешево не отделаешься. Я тебя везде достану.

– Я тебя везде достану, – повторил он вслух. Мадлен выше подняла голову.

– Ты думаешь, я не смогу от тебя убежать, если захочу?

– Беги. А я погляжу, как ты будешь вязнуть в снегу. Под прицелом моего...

Он рванул из-за пазухи смит-вессон и повертел им перед носом у Мадлен.

– Такую игрушечку впервые видишь?...

Мадлен щелкнула пальцем по черному железу.

– Испугалась я тебя. Под платьем я ношу броню. Серебряную кольчугу. Меня пуля не берет.

Он рассмеялся. Этьен вылез из погреба в очередной раз, отпыхиваясь, волоча за собой окорок.

– Давайте выпьем за Рождество Господа нашего Бога Единосущего Иисуса Христа, Сына Божия!.. Эх, поднимем бокалы!.. Рано ты женился, Март, сейчас бы мы тебя за эту вот кралечку сосватали...

– А мы и без свадьбы с ней. Да?...

Он пошло подморгнул ей, дернув углом рта. Выпил. Капля коньяка скатилась у него по щетине, как слеза.

Они дружно ели и пили. Навалились на еду с голодухи. Руки Мадлен летали над столом. Она пробовала все, отщипывала от всего – и от куриной ляжки, и от кусочка миноги, лезла пальцами в салат, заталкивала в рот маленькие, как ракушки, кнедлики, опрокидывала в рот рюмки коньяку – одну рюмку за другой, одну за другой. Она всегда так резво ест и пьет, Март? ... Ох и прожорливая, лиса!.. Ты ее не прокормишь. А ты зато прокормишь. Ты приволок ее сюда на мою шею?... Деточка, отведай вот еще салатика из крабов. Они плавали когда-то в океане... И ты, деточка, плывешь в людском море... И тебя рыбаки изловят... сети уж сплетены... Выпьем, господи!.. За что, дурак?... За тебя, идиот!.. Я не идиот, я сам ее на обочине увидел, набросился, схапал, сгреб, в машину затолкал, крикнул: ежели пикнешь... Ну, ты смелый петух, я бы так не смог... Глянь, как она некрасиво ест!.. Как дикарь... Никаких манер... Не запихивай себе в глотку жратву!.. Ее еще очень много!.. На нашу жизнь хватит!.. Будешь жить у него, шлюха. Он славный малый. Его и на жену хватит, и на тебя хватит. Будет сновать между вами, как челнок, ха!.. А потом я приеду за ней... приеду в роскошном ландо... и заберу... уже договорившись о сделке... О какой сделке, что ты мелешь... ты пьян... Нет, это ты пьян, не лезь ко мне своими лапищами... Да я тебя обнять хочу, сволочь ты такая... Обнимаю лучше ее, она создана для объятий... Она создана для еды!.. видишь, как уминает... как уписывает... за обе щеки... аж за ушами трещит... Ты никогда не видел, чтобы живые люди так ели!.. только звери в зоосаде... Подари ей этот поганый халат... он ей безумно идет... Я ей себя подарю... Да она тебя не захочет... А тебя – захочет?!.. Выпьем... за то, чтобы захотела... А ты уже был с ней?... Ну да... что – да?... а ничего... она нежна, как голубица... груди ее – как лилии... сосцы ее... как... как...

Валяются головами на столе. Спят. Тихо. Надо прокрасться на чердак. Там дрыхнет неизвестный по имени Лурд. Он из Пари. Пари. Большой город. Огни. Вздрыбленные громады великих домов, яркие фонари, множество блестящих хохочущих женщин в нарядах, низко открывающих грудь, женщин-фей, женщин-княгинь, девочек-принцесс. Там, в Пари, даже беднячки выглядят графинями. Она слышала, что белошвейка из Пари в иных краях Эроп сойдет за герцогиню; а то и за даму королевской крови, если умело прикинется благородной. Ей не надо прикидываться. Она видела себя в зеркало. В сених у увальня Этьена она метнула на себя взгляд в зеркало. Один беглый взгляд сказал ей все.

Надо спешить. Лестница. Из всех комнат доносится зычный храп. Праздничный народ спит. Она напилась коньяку, ее шатает. Или это у лестницы, ведущей на чердак, кривые ступени? Держись за перила, Мадлен. Не упадешь. Крепче вцепляйся. Какая темень. Глаз выколи. Чердак, сочленения дубовых балок, запах раструсенного на клочки летошнего сена. Сено... в нем могут быть васильки... что, что?!.. Цветки из сказки... Шмель садится на василек и засыпает... сладко, сладко... Как пьяный Март за столом?!..

Она кралась вслепую. Таращилась. Куриная слепота. Все равно не видела ничего. Рядом с ней раздалось дыхание. Рванулась тень. Крепкие руки схватили ее. Худые жесткие пальцы властно сжали ее плечи.

– Кого черт принес?...

Шепот повис во тьме паутиной.

Мадлен огрызнулась:

– Не слишком-то ты любезен... Лурд.

– Ты знаешь мое имя?... Кто ты?...

– Зажги огонь. Сейчас все скажу. Лурд, у нас мало времени.

– Для чего мало? – спросил Лурд, зажигая спичками щепку, извлеченную из вороха сена. – Для того, чтобы вволю позабавиться?... Любишь кувыркатся на сене... красотка?... Ты Этьенова зазноба?... или тебя Март приволок?... Они мужики не промах... со вкусом... Так как насчет валяния в сене?... Идет?...

Он потянул ее к себе за полу китайского халата. Черный шелк распахнулся, и во мраке чердака сверкнули перламутр живота и твердая, торчащая земляничина соска.

– Какая грудь, что за грудь, черт возьми, – бормотал Лурд, в то время как пальцы его бродили по ходящей ходуном груди Мадлен; она задыхалась, запрокидывала лицо, губы Лурда вобрали вздернутую шишечку соска. Кусай меня, Лурд. Я вытерплю все. Я не вижу в темноте, молодой ты или старый. У тебя чудесные губы и зубы. Они делают мне больно. Они делают мне сладко и невыносимо. Зачем твой язык гладит мою бедную кожу?... это же всего лишь нищая, давно невымытая кожа, в Воспитательном доме нас мыли из грязных лоханей и тазов, а в воду сыпали горстями хлорку, чтобы мы не заразились песью и паршой, это не парча, не шелк и виссон... не дамасский батист... твой язык спускается ниже... все ниже и ниже...

– Ляг на сено, сюда, – шепнул Лурд, оторвав жаждущие губы от вздрагивающего живота Мадлен. – Ты... девочка?...

– Да, – соврала она и почувствовала, как густо, стыдно краснеет в темноте. Лурд, ты, оказывается, молодой и красивый. Я в темноте это вижу. Это ночь чудес. Я на свободе. Ты возьмешь меня с собой в Пари?... Не оставляй меня здесь, на чердаке.

Он вел языком, как парчовым лоскутом, по ее груди, вокруг сосков, по животу, по пупку, зарывался лицом в заросли золота. Не бойся. Я сам боюсь.

Его горячий язык вошел в расщелину, отыскал округлившийся женский жемчуг. Вот он, под соком языка. Оближи его. Кто тебе эта девчонка, бедняк Лурд? Ты такой же бедняк, как она. Вы не видите друг друга – на дворе темно. Зима. Волхвы спят в хлеву, а вы на сеновале. Слоны стоят внизу, во дворе, и спят под теплыми попонами, под персидскими коврами; лошади под седлами, утыканными гранатами и цирконами, спят стоя и мотают мордами. Им снятся слепни и отборный овес. И верблюды тихо лежат, подогнув под себя неуклюжие угластые ноги; их морды в сетчатых намордниках, чтоб они не плевались в детей и гостей, а уздечки расшиты жемчугом. Таким, как этот, живой? Жемчуг в его зубах. Улыбка с жемчугом. Прекрасный кадр для дагерротипа. Как он дрожит в его увлажненных слюною губах. Вот он уже сияет весь в его рту. Сотвори чудо, Лурд. Завтра вы расстанетесь. А если...

Такого со мной не было никогда. Там, в Доме... что есть мужчина?... Грязь, кровь, похоть, тяжесть, ломающая хрупкие кости. Мужчина убивал тебя. Мужчина никогда... что это, Лурд?!.. Зачем это... Пусти... Пусти!..

Он прижал лицо к ее солено пахнущему, залитому белым терпким соком лону и всунул бьющуюся рыбу жаркого языка внутрь, глубже, еще глубже. Мадлен извивалась и кричала. От радости. От боли. От наслаждения. От ужаса.

От страха, что все закончится сейчас и бесповоротно.

Тело Лурда взметнулось над ней голым смуглым флагом. Он вошел в нее быстро, забился в ней, как рыба на остроге. Бери меня. Я твой. А-а-а!

Только миг живет сдвоенное в любви человежье тело; один жалкий миг. Его люди принимают за вечность.

С Мадлен это случилось на земле. Она могла никогда не почувствовать вечности. Лурд показал ей вечность. Вечность – два крепко сплетенных тела. Она не видела, каков из себя Лурд. Он не видел ее. Наступит утро. Может, он невозможный урод? Что они скажут друг другу? Ей нужен Пари. Ей нужна свобода и счастье. А таких Лурдов у нее будет еще много.

Нет. Лурд всегда один. И ты его не забудешь, девочка.

– Ты... не девочка, – изумленно выдохнул Лурд, глядя мокрым телом тело Мадлен.

– Я наврала тебе.

– Зачем?... Я бы не обиделся. Правда, я был вдвое нежнее с тобой, чем обычно с девчонками. Ты меня напугала. У меня еще не было девственниц. А ты откуда свалилась мне на голову?

Мадлен, накидывая на потные плечи китайский халат, загребла в горсть сена и окунула лицо в сухую траву, жадно вдыхая терпкие запахи. Сквозь высохшие стебли текли ее слезы и таяли в сухих цветах, верблюжьих бубенцах, бирюзе и сапфирах.

– Лурд. Я не вижу тебя в темноте. Но это и неважно. Слушай внимательно.

Он насторожился.

– Надевай штаны и бежим.

– Куда бежим?... Ты что, очумела?... Ночь на дворе... Праздник... Я к Этьену еле добрался...

– Ты живешь в Пари?

– Да.

– Я должна бежать с тобой. Меня хотят убить.

– Кто?... Что ты городишь?

– Март. Ты знаешь Марта?

– Ну... так... слегка... продувная бестия...

– Вот он и хочет. Он уже пытался. Я должна убежать отсюда сегодня. Сейчас. Быстро. Пока он напился и спит в гостиной. Ты не дашь мне умереть.

– Не дам, конечно, – выдавил он смешок, – ты славная девчонка и любишься искусно. Я всерьез думал, что ты Святая Мария. Бежать так бежать. Эх, неохота!..

Он лениво влез в штаны, зевнул.

– А может, поспим?... Я тебя обниму... Согреемся... Здесь так чудесно пахнет травой... Завтра утром поедим объедки с барского стола... Этьен нам рюмочку нальет... Ты все выдумала, про Марта... Он и кошки не обидит...

– Нет.

Они так и вышли в зимнюю ночь – она, подпоясав кожаным ремнем шелковый, в хризантемах, черный халат, он в черной кожаной куртке и высоких сапогах, в надвинутой на глаза меховой шапке, похожий на подвыпившего маркиза: из-под куртки у него торчало заляпанное вином кружевное жабо, – и она впервые увидела того, с кем ей предстояло пройти шматок пути: рыжий, конопатый, с толстым носом, с низким лбом, с подслеповатыми глазками, высокий и худой, как жердь, с кулаками, что постоянно сжимались и разжимались – нервно, болезненно. Ей стало жаль его – лишь на миг. Где осталась их вечность?

Они выбежали из ворот и дали деру.

Уже на рассвете они подбежали к маленькой железнодорожной станции. Впрыгнули в поезд, направлявшийся в сторону Пари, на запад, дрожа от холода и страха перед контролерами. «Знаешь, они опасные; есть со свистками, есть даже с плетками. Кое-кто носит в карманах кастеты; кто-то колет тебя тайными колючками. Берегись их! Они могут покалечить тебя». Мадлен смеялась. Я их покалечу сама. Я знаю выпады восточной борьбы.

– Какой, какой?...

– Восточной, оглох, что ли?...

Она не подозревала, что знала самые драгоценные па, выпады и приемы – борьбы за жизнь.

\* \* \*

– А что было дальше, Мадлен?... Почему ты замолчала...

Рассвет. Холодный, как вынутое из погреба молоко, рассвет сочился в изукрашенные морозными узорами окна. Голые девушки лениво лежали в горе простыней, рядом с их подушками, в изголовье, валялись яблочные огрызки, косточки персиков, банановые шкурки.

– Потому что не хочу говорить.

– О том, что было дальше?...

– Да. Разве тебе интересно, Кази?

Мадлен перевернулась с живота на спину, потянулась, захрустели кости. Пока еще молодые кости. Как прекрасно умереть молодой. Ты запомнишь жизнь прекрасной. Прекрасной?! Кто придумал это слово?! Люди в карнавальных масках, кружащиеся на Масленицу по ночным улицам сумасшедших городов с островерхими крышами?! Осыпьте меня конфетти, обмажьте меня медом, я никогда не буду делить с вами ваше веселье. Я знаю, что такое Праздник. Я крестила лоб в ином Храме. И вам его у меня не отнять. Только вместе с...

– Хочешь еще грушу?...

– Тошнит. Давай соснем хоть часок. Утром – горячий душ... массаж... маникюр... рожа мадам... как думаешь, вырвемся когда-нибудь отсюда?...

– Вырвемся. Клянусь.

– А с Лурдом этим... что стало потом?...

– А ничего. Тот парень, что меня шантажирует время от времени, выманивая у меня деньги на то, на се, это он. Однажды явился, подстерег на улице, около фонтана Тэсси. С ножом к горлу: мне нужна машина, дай денег на авто. Я его послала. Он долго преследовал меня. Настигнет то у подъезда мадам, то в Опере, то в булочной. Нам же разрешают везде ходить, не то что другим, сидящим с утра до ночи взаперти; он про это прознал и теперь стережет меня. Прилип, как банный лист!

– Не боишься?...

– Чего?... Как прилип, так и отлипнет. Я ему много помогала. Содержала его, как ребенка. Сначала он...

Мадлен уткнула лицо в подушку. Втянула ноздрями запах слежалых птичьих перьев. Пари не верит слезам. Да их нет давно. Есть все что угодно: пот, кровь, сок мужских корней, извергаемый в судорогах, слюна, когда зверски хочется есть, вино и молоко, кофе и чай. Любая жидкость течет и брызжет. Нет только слез. Они высохли. Вымерли. Как та сухая трава на сеновале.

– ...он стал моим сутенером.

– И ты... пошла на это?...

– У меня не было иного выхода. Я спала с одяшками. С подзаборниками. С бедняками, со всеми, у кого за пазухой хоть грош водился. Лурд не брезговал ничем. Он толкал меня на панель, и я стояла под дождем и снегом, мерзла, прятала руки в рукава – у меня не было муфты. Он купил мне одежду. Лишь для того, чтобы я могла завлекать мужиков не только телом, но и тряпками. Он говорил так: в Пари глядят, как ты одет. Если у тебя нет наряда – можешь идти пешком отсюда вон. Я кричала: не уйду отсюда вон! Он орал: ну так ступай, зарабатывай деньги! Я вопила: это не деньги! Это дерьмо! Это ломаные гроши! Чтобы выжить! Так мы и выживали. Иногда мы бросались друг к другу, вспоминая тот сеновал. Но редко. Эта

трава перестала щекотать нам ноздри сразу после того, как слезли с поезда, два зайца, в Пари, на грязном и дымном вокзале Сен-Сезар. Обнимая меня, он шептал зло: я тебя подобрал, я могу делать с тобой все, что захочу... но уже с душком, ты воняешь другими мужиками, ты порочна, ты гнилое яблоко... ты уже не принадлежишь ни мне, ни себе... ты уличная тварь... ты тварь... ты...

Мадлен опять упала лицом в подушку. Кази нежно погладила ее рукой по голой спине.

– Если тебе тяжело, не говори. Я и так все представляю.

– Отстань. Хочу говорю, хочу нет.

– У меня все было похоже.

– У всех все было.

Она, не вставая с постели, достала со стола бутылку со сладким красным вином, налила в граненый бокал, выпила залпом.

– Сладкое... Похоже на кагор. Вино Причастия...

– Евхаристии?...

– Пейте от нея вси... сия есть Кровь Моя...

– Ты бредишь, Мадлен?... На каком языке ты говоришь?...

– На языке одного клиента, – холодно бросила она и перевернулась на бок. Рассветные лучи, просачиваясь через леденистое окно, вызолотили ее живот, расписали розовой кистью грудь.

– Когда я задумала от него убежать, была опять зима. Февраль. Время карнавала. Он ждал этих бешеных дней. Весь Пари с ума сходит. Все в неистовстве желания и обмана. Верх меняется местом с низом. Там, где сияло лицо, торчит толстый зад. Из живота глядят безумные и прекрасные глаза. Шляпы с перьями возвышаются над горами кудрей и париков. Девушки стреляют взглядами, ищут в вихре толпы возлюбленного на одну ночь, суженого... на всю жизнь. Богатые старые господа садятся верхом на сабли и метлы. Пялят шутовские колпаки, королевские мантии. Я шут!.. А я король!.. А я палач, и вот мой эшафот, и я вас всех, дурни, сейчас казнию!.. Взмахивает топор, и на березовую плаху льется яркий клюквенный сок. Сок красной смородины! Все визжат! Рвут на себе накладные волосы, крашенные в синий и красный цвет! Красные ногти горят в ночи на пальцах у разбитных девиц!.. И Лурд шепчет мне, чуть не ломая мою руку в кулаке: давай, жми вперед, в гущу толпы. Лови. Охмуряй. Ложись под забором – под сугробом – под распахнутым окном, откуда крики и песни и волчий вой. Тяни их за мошну, вытрясай звонкую монету. Звон монет! Смысл жизни! О, Кази! Неужели в этом! Неужели всей жизни! Всеи жизни! Всеи...

Она затряслась в беззвучных, бесслезных рыданиях. Кази взволнованно, сев на корточки рядом с кроватью Мадлен, гладила ее по золоту рассыпавшихся кудрей.

– Милая... да будь я проклята, что заставила тебя исповедаться... на черта нам все эти рассказы из нашей жизни... У нас и жизни-то еще не было... Может, нас еще ждет, Мадлен, ждет...

– Что нас ждет?!

Вопль. Безумный, бешеный вопль дикой кошки.

И мгновенное спокойствие потом. Ледяной синий взгляд. Ледяная улыбка.

– Позвать Риффи?...

Мадлен села в подушках. Взяла себя рукой за грудь. Вполоборота посмотрела в круглое зеркало. Схватила с тумбочки жемчужную низку, всунула в ожерелье шею. Подгрребла к себе, скомкав, отрез красного бархата, валявшийся в ногах кровати. Светлая кожа фосфоресцировала розовым и золотым. Цвета рассвета. На гладкой шее яркими ледяшками горел скатный жемчуг. Настоящий? У мадам на натуральные камни порошу бы не хватило. В Эроп все подделывается. К этому привыкли. Она глядела на себя в венецианское зеркало, кусала алый рот, чтобы губы пылали краснее, неистовее. Клеопатра красила губы соком граната. Кто кра-

сил губы чужою кровью?! Ведьмы в сказках?! Собственной кровью... Мгновенный удар копья памяти: зима, Масленица, на площадь выносят блины на огромных сковородах, жгут костры, в костре посреди широкой площади горит, дымясь, соломенное чучело Костромы... кто такая Кострома?... может, тамошняя ведьма... чудовище... может, это сама Зима, и ее надо сжечь на ярком, веселом огне, чтобы все время было тепло, чтобы люди не плакали больше от холода... от мороза... Ее мать стоит рядом с ней. Трет губы колючей мохнатой варежкой. Мама, зачем?!.. Ты же поранишь себе губки колкой шерстью... в шерсти, с овец состриженной, попадаются опилки, сухие шмели, щепки... ты себе нежную кожу обдерешь... Нет, – смеется. Ярче губы будут пылать на морозе. Глядишь, кто-нибудь подойдет да поцелует. Жарко, крепко. Знаешь, дочка, поцелуй на морозе сладок!.. Сладше вина кагора, что в церкви на Причастии дают глотнуть... из серебряной ложечки с витой ручкой?... Ох, сладше... и высказать невозможно...

Зеркало, изготовленное в Венеция. Как беспощадно ты все отражаешь. Она покосилась на себя. Мрачный синий глаз. Выпуклый, большой, коровий. Мадам за глаза зовет ее золотой коровой. Да уж, коровушка золотая. Доит меня мадам безбожно. Вымя мое не щадит. Правда, моет и холит на славу. Чтобы я одна в поля и луга насовсем не ушла. Да ведь уйду. К этой белой груди пойдут сапфиры. Надо заказать у ювелира поддельные. И у портного Дерьне – платье с большим декольте. И пойти в Оперу. И купить билет в богатую ложу. И появиться там с веером из павлиньих перьев, и широко развернуть его, обмахиваясь и победно из-за веера улыбаясь, светя надменными синими факелами глаз в черную пасть битком набитого зала. Чтобы все ахнули. Чтобы все упали. Чтобы в антракте, когда она выйдет из ложи в фойе и станет важно прогуливаться туда-сюда, за ее обнаженной спиной раздавались шуршание, шепот, сплетни, пересуды, ахи, охи, восторги, проклятия. Чтобы ее узнавали издали. Чтобы хотели увидеть ее вот так – голой – в подушках – с жемчугом на торчащей яростно груди – в рыже-золотых кудрявых волосах – со сверканьем в ночи небесных глаз – с нагим, тяжело дышащим животом – перед старым венецианским зеркалом: вот она вся, перед зеркалом, перед чужим непонимающим и непомнящим взглядом, перед чужой равнодушной жизнью, – а вы все равно ее никогда не поймете, никогда и ни за что не купите, даже за сокровища Голконды, даже за россыпи золотых монет индийских радж, за алмазы Слонового Берега, за сундуки самоцветов из царских подвалов далекой страны Рус; набросайте у ее ног груды драгоценностей – она, смеясь перед зеркалом, встанет над ними, зачерпнет их в пригоршню, расхохочется еще пуще. Веселая девка Мадлен! Она вас сама всех купит, дайте срок. За ней не заржавеет. Все купит. И это зеркало. И этот Веселый Дом. И мадам. И Кази с Риффи. И Дворец Дожей в далекой сказочной Венеция; и Грановитую палату загадочного Царя далекой страны Рус; и египетские усыпальницы; и лучшие в мире наряды; и мягкую перину на отдельной, совсем отдельной кровати, чтобы сладше спалось, чтобы никто никогда больше не тревожил, не пихал в бок, не совал в рот и в живот выступы своих плохо вымытых тел, не кидал ей в лицо жалкие, мятые, жирные бумажки. Она купит все бумаги и камни; все кареты и авто; все телеги и арбы. Вот только счастье. Счастье. Купит ли его она? Зеркало, ответь, – купит?...

– Ох, Мадлен... Тебе бы отпущ... тебе бы подкормиться молочком... в деревне... на природе...

Она затихла. Кази укрыла ее простыней. Задремала, скрючившись на коврик у ее изголовья. Прокапали и растворились в рассветном тумане капли времени. Зимнее Солнце било в исчерканные ледяными папоротниками и хвощами стекла. Пари, северный город. Огни и карнавалы.

Внезапно Мадлен вскинулась. С закрытыми глазами, в полусне, пробормотала косноязычно:

– ... а потом он бил меня... бил смертным боем... как собаку... как суку, что плохо охотится... сука уже не могла служить... она хотела убежать в лес... я сшила маску для масленичного карнавала, когда приезжал князь Монакский... такое событие... народ стоял на ушах...

Лурд кричал: если ты не подцепишь толстый кошелек, можешь проститься с жизнью... я забью тебя до смерти... он уже ненавидел меня... лютой ненавистью... я тяготила его... и я же была его печью, его жратвой, его подстилкой... его домом... мы спали вдвоем на узкой койке... он снимал за три монеты в предместье... завел дружбу с ворами... воры нагрянут к нам ночью, галдят... пьют божолу, бурбон... всякую дешевку, чтобы опьянеть... лезут ко мне... Лурд орет: давай!.. Нажимай!.. сдерите с ежихи иголки!.. приз дам... они обливали меня шампанским... мазали меня мороженым и слизывали его с меня... я сшила такую страшную маску, что сама забоялась... драконью... Да, это был дракон... он изрыгал дым и огонь из пасти... у него было две пары ушей... длинный красный язык, раздвоенный, как у змеи... и драконью чешую я наклеила, из кругляшков фольги, на темно-зеленый гладкий шелк... я ему так и сказала:пусти меня, дай мне делать, что я хочу, я китайский дракон, все хризантемы давно отцвели... осыпались с халата... засохли... И он выпустил меня... и следил за мной горящими глазами... он заподозрил... А я веселилась напропалую... меня закручивали в танце... от меня шарахались с визгом... меня похищали, сажая на передок кареты, запряженной четверкой белых лошадей... и везде я слышала его голос: «Не забывайся, Мадлен!.. Эй, Мадлен!.. Я тут!.. Я слежу за тобой!.. Ты плохо работаешь!.. Ты еще никого не поймала!.. Получишь плетки вволюшку!.. Я буду бить тебя кулаками в живот... в твой бесплодный продажный живот... и ты никогда не родишь ребенка... никогда...» Я вцепилась в человека в парике... кто ты?... я Иоганн Себастьян Бах, я сочиняю бессмертную музыку... а ты кто?... а я великий китайский дракон... и я сейчас тебя съем... дохну на тебя пламенем и дымом, изжарю... и нет тебя... Не жарь меня, я тебе еще пригожусь... этот Бах был такой добрый... он все понял... он сцапал меня и поволок под мост... там был мост, сырые быки моста, камни парапета... сначала он меня распотрошил, как свежесловленную рыбу, на парапете... камень сырой был, холодный... я простудилась, долго кашляла потом... потом положил меня в мешок, расшитый поддельными яхонтами... хохотал: этот мешок я стащил у персидского военачальника... стянул его с верблюда... он как раз для такого дракончика, как ты... и взвалил на плечи, и потащил... унес меня... в иную жизнь... в иную... в мешке было темно... сыро... пахло волшебством, печеньем с корицей... там до меня лежало печенье... меня тащили прочь от ужаса... прямо в волшебство... и я смеялась, сидя внутри мешка... смеялась от радости... и дергала Баха за парик... и у меня спина болела, потому что в нее впивались грязные камни парапета... я помню это место... я покажу его тебе... а как звали Баха, не помню... уже не вспомню... никогда...

Она уже спала, еще бормоча.

Кази спала, как собачка, на коврике рядом с ней.

Солнце сквозь замерзшее стекло заливало обеих девушек торжествующим царским светом.

Человек, укравший Мадлен с масленичного маскарада, продал ее за бесценок в заведение мадам Лу, что на Гранд-Катрин. Она стояла перед мадам в костюме дракона. Мадам сдернула с нее драконью маску, набитую табаком, чтобы раскуривать и пускать дым из ноздрей и ушей, и ударила ее по щеке.

– Шлюха подзаборная!.. Здраваться не научена!.. Мы здесь научим тебя всему!

Мадлен проглотила слюну. Тряхнула золотой головой. Сказала, чеканя каждое слово:

– Здравствуйтесь на веки веков. Аминь.

И упала замертво к ногам мадам – она очень хотела есть, и это был простой и скучный, бедняцкий обморок от голода.

Я жила в Париже тяжело. Эмигрантам всегда тяжело. Особенно тем, кто приехал сюда из России. Русских в Париже пруд пруди; «Париж наполовину русский город», – вздыхая, говорил мне мой друг, священник храма Александра Невского на рю Дарю, отец Николай Тюльпанов. В отличие от потомков русских семей предыдущих волн эмиграции, накатывавших на Париж,

начиная с 1917 года, кто не знал языка или почти забыл его, коверкая родные слова, я, приехавшая в Париж недавно, поддерживала себя в минуту горя и уныния русскими молитвами, русскими стихами, чтением русских книг, привезенных с собой; я страдала оттого, что мне часто не с кем было перемолвиться словом по-русски, всюду щебетали по-французски, как птички, французские консьержки, французские молочники, французские продавцы, французские ажаны. Я слонялась по Парижу одна, тоскуя, глядя на его красоты, ненужные мне.

Зачем я приехала сюда? Я убежала. Меня вынудили уехать. Я окончила Консерваторию в Москве по классу фортепиано и органа, с успехом давала концерты в городах России, аккомпанировала певцам, играла в камерных ансамблях. Меня ждало будущее музыканта, не особенно блестящее в стране, если ты не выбивался в люди на крупных международных конкурсах, но и с голоду мой музыкантский хлеб умереть бы мне не дал. На беду свою, я стала писать стихи. Эта сила была сильнее меня.

Я чувствовала поэзию; я училась у мастеров. Я писала смело, как хотела. Мои стихи расходились по Москве, Питеру, Нижнему, Екатеринбург, Красноярску, Иркутску подпольно; их переписывали от руки; их читали шепотом, на кухнях, в маленьких залах – в подвалах, в заштатных кинотеатрах, в студенческих кафе, в затынутых кумачовыми полотнищами клубах. Мне не была нужна официозная слава в России. Мне было достаточно моей судьбы и того, что Бог дает мне силы писать то, что я хочу.

Не все коту Масленица. Людям, бывшим у власти в ту пору, мои стихи не приглянулись. Мои друзья с круглыми от страха глазами в тысячный раз рассказывали мне истории замученных и расстрелянных поэтов, печально известные каждому школьнику. Я, смеясь, отвечала им – аллаверды – историей из жизни Пушкина: когда к нему в Михайловское нагрянули слуги Бенкендорфа, чтобы изъять у него написанные им крамольные стихи, он успел сжечь все в печке, а на вопрос сыщиков: «Где же ваши рукописи, господин Пушкин?..» – поэт поднял руку, постучал пальцем по лбу и сказал: «Все здесь». «Здесь-то здесь, ты все сожжешь и восстановишь в три дня, – сокрушались мои друзья, – а вот выгонят тебя отсюда взащей!..»

Так оно и случилось.

Ко мне явились поздно ночью. Я не знала этих людей. Их было шестеро. Они сели за стол, говорили со мной спокойно. Мне предложили на выбор: или далекие северные лагеря, или срочный, в двадцать четыре часа, выезд из страны. Я похолодела. Думала недолго, несколько секунд. Выбрала второе.

Я хотела жить, и я хотела написать то, что мне было назначено Богом.

Друзья добыли мне денег на самолет; иностранный паспорт сделали мгновенно приспешники власть предержащих. Почему я выбрала для жизни Париж? Францию? Не знаю. Может быть, потому, что во Францию всегда уезжали все гонимые русские люди.

Так я оказалась в Париже. Когда самолет приземлился в аэропорту «Шарль де Голль», меня никто не встретил. Я была беженка, изгнанница. Я вынуждена была просить убежища. Во Франции очень жестокие законы для эмигрантов. Эта страна просеивает людей, сыплющихся в нее отовсюду, через мелкое сито. Я металась, бегала по Парижу, искала пристанище, прибежище, работу, жилье, знакомства, денег в долг, опять жилье, если из прежнего выгонял хозяин за неуплату.

Я узнала, что такое настоящая бедность.

Это когда тебе совсем нечего есть, и ты не едешь, а идешь пешком, отмеряя многие километры, в предместье Парижа, и там, робко постучавшись к какой-нибудь французской хозяйке – а выбираешь домик победнее, чтоб свой понял своего, – просишь у нее на ломаном французском, похожим на попугайское карканье, немного хлеба, картошки и кусочек сала. Я сразу выучила эти слова: «хлеб», «вода», «картошка», «сало», «крупа», «мука», «масло». В этих словах была жизнь. Если хозяйка попадалась добрая, мне давалось и то, и другое, и третье. Если я нарывалась на злоку, мне не обламывалось ничего. Тогда я жестами показывала

ей, что могу выполнить нужную работу – по дому, по саду, огороду. Я научилась копать землю, сажать овощи, и руки у меня были все в земле, и грязь под ногтями, неотмываемая.

В Париже я тоже искала работу. Находила – временную. Разносила газеты. Мыла полы в бистро. В парикмахерских. Однажды я нанялась развозить молоко, неуклюже разбила две бутылки с молоком, и меня тут же уволили. На Западе нельзя ничего делать плохо. Ошибешься – прощайся с работой. Рук и ртов в огромном городе много, работу уволенному трудно найти.

Я судорожно искала выхода. Что делать? Гибнуть?! Я была в Париже совсем одна. Друзей у меня не заводилось из-за незнания языка. В магазинах и булочных я общалась жестами, кивками, улыбками. Я донашивала одежду, в которой убежала из России. Слава Богу, мне повезло с жилищем – меня пустил жить к себе непритязательный старикан, одевавшийся в лохмотья, добытые у старьевщика, промышленявший бытием клошара, нищего под мостом Неф. Зимой и летом он сидел на решетках, под которыми текли теплые воды парижских подземелий. Из-под решеток поднимался горячий пар, моему старику было тепло. Он клал перед собой шапку, веселые парижане бросали туда монетки. Я вспоминала нищих в России. Все в мире было похоже. Только языки были разные.

Судьба привела меня в храм Александра Невского на рю Дарю. Благородный, добрый священник, отец Николай, приветил меня. Я для него была одной из сотен бедных эмигрантов, обивающих пороги родных церквей. В России я не отличалась особой набожностью. В существовании Бога у меня не было сомнений. Однако посты я не соблюдала, на службу ходила редко, и молилась лишь тогда, когда на меня обрушивались несчастья, следуя старой русской поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Здесь, в Париже, было все иначе. Русский храм не просто связывал нас с Россией. Он был нашим Русским Домом, нашим оплотом, нашим Ковчегом в Потопе, нашим свергнутым и восстановленным Троном, настоящим Престолом Божьим и Святой Руси. Только в Париже я впрямую ощутила, что Русь – Святая. На родине мне это и в голову не приходило. Что имеем, не храним; потерявши – плачем.

Отец Николай, маленький, похожий на колобка, бородатый батюшка, словно переносил меня из парижской сутолоки и ужаса нищеты в старую Русь. Он водил меня по храму, рассказывал про древние образа, драгоценности Царского Дома, приключения, благодаря которым реликвии попали сюда, на улицу Дарю. Он поил меня чаем в доме рядом с храмом, раскладывал по столу бутерброды с салями, с прованской ветчиной. Я глядела на роскошь еды испуганными глазами. Я давно не ела мяса. Отец Николай совал бутерброд мне в руку: ешь, не стесняйся, сейчас же нет Поста, разрешено. А в Пост рыбку тебе дам.

Я ела и плакала. Слезы сами текли по щекам. Священник крестил меня, шептал: да воскреснет Бог и расточатся врази Его.

Он, отец Николай, и пригласил меня однажды на вечер русских эмигрантов в этом самом небольшом домике близ храма, где он устраивал чаепития для бедняков. Сначала отстояли службу. Был февраль, Сретенье, и мела метель, редкая птица в Париже в это время года. И на старуху бывает проруха. Зима в том году выдалась холодная. Парижане шутили: полюс идет на нас войной. По слухам, подобные морозы и снега царили над Парижем то ли в двадцатые, то ли в тридцатые годы – я не очень поняла из перешептываний публики, почтительно стоявшей, склонив головы, и седые и молодые, в храме на Литургии.

Пели Литургию святого Иоанна Златоуста. Рахманинов... я знала эту музыку еще по Консерватории. Я стояла поодаль, почти у выхода – народу было много. Вдыхала, сквозь духоту и запах тонких парижских духов, ароматы ладана, курений, возносящихся из кадила в руках отца Николая. Вокруг меня стояли и молились русские люди. Я тайком оглядывалась. Все это эмигранты, их дети, их внуки, их правнуки. Старух и стариков первой волны эмиграции привезли на Литургию в креслах на колесах – они уже не могли ходить. Я, кося глазами, видела рядом с собой гордую, всю седую, серебряную старуху, ее профиль мерцал в свете свечей, она медленно подносила высохшую, еще красивую руку ко лбу и крестилась так, будто возлагала

себе на голову корону. Графиня?... Княгиня?... Отец Николай шепнул мне, что на службе и на вечере будет много старых русских аристократов, потомков знаменитейших фамилий России. Я гадала, кто могла быть эта старая дама. Княгиня Васильчикова?... Нарышкина?... Голицына?... Иловайская?... Оболенская?... Шаховская?... На ее руке, когда она поднимала ее ко лбу, просверкивали два драгоценных камня – изумрудный, гладко обточенный кабошон и звездчатый сапфир. Камни были заключены в золотые оправы, потемневшие от старости. Фамильные драгоценности. Сколько же они пережили всего... вместе с ней.

Рядом со мной стояли и молились молодые люди. Это от них пахло хорошими духами. Многие были бедно, но чисто одеты. Кое-кто щеголял в богатых нарядах. Потомки русских. Внуки тех, бежавших первыми от революции. Дети от смешанных браков, вполнину французы, забывшие язык. Единственное, что их связывает с Россией, – это вера, православие. Они не забывают веру отцов и дедов. Приходят сюда, на рю Дарю. Молятся. Шепчут косноязычно: «Богородица, Дева...» La Mère... Мать. Россия нам всем мать. А кому и мачеха. Но молитесь за нее, как за мать, всегда.

Литургия текла печальной рекой, отец Николай шествовал в золотой ризе к алтарю, дьякон держал потир с причастием, помогая причастить паству, и, когда мне отец Николай всунул в рот витую серебряную ложечку со Святыми Дарами – хлебом, размоченным в кагоре, – я проглотила Дары и вдруг заплакала, неизвестно отчего. Только потом, позднее, я поняла: это были первые слезы умиления и смирения перед судьбой, ощущение себя одной из малых сих, из затерянных в бедности и нищете возлюбленных дочерей Господних.

– Бог поможет тебе, – шепнул мне отец Николай, причащая меня, пока дьякон утирал мне рот красной тряпицей. Я вспомнила красный кумач родины, полотнища и флаги, мотавшиеся на ветру на всех парадах. – Бог милостив, Елена.

Служба закончилась. Прихожан пригласили на трапезу в домик. Все с удовольствием, оживившись после строгого стояния в церкви, весело болтая, щебеча, проществовали туда. Были накрыты длинные столы, стоявшие каре. Крахмальные скатерти снегово белели – отец Николай постарался. Скромные приборы перед каждым, родное русское угощение – винегрет, расстегаи с мясом, холодец, блины. Там и сям в блюдечках красными горками возвышалась икра. Я глядела на пиршество богов, чуть не падая в обморок от голода. Да это просто праздник. Ну да, сегодня же праздник – Сретенье. Что произошло в этот день тогда, давным-давно? ... Ах, да. Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм, и его принял на руки старец Симеон, и сказал: «Наконец-то я увидел Тебя, Бог мой, я дождался чуда, я держу Тебя на руках. Теперь можно и умереть». Может, он совсем не так сказал... я не помнила.

Перед нами стояли и бокалы – какая же Франция без вина? Да и какая Россия без выпивки?... Мужчины галантно ухаживали за дамами, разливая вино. Рядом со мной оказалась та самая горделивая старая дама, сидевшая в кресле в церкви. За столом она тоже сидела в инвалидном кресле на колесах, а не на скамейках, как все, и я поняла, что ни вставать, ни ходить она уже не может. Бедная. Может быть, у нее нет ног. Под длинной пышной юбкой не увидишь ничего; может, там протезы. А может, она парализована. На ней была надета кофточка из тончайшего, кружевного батиста, отделанная креп-жоржетовыми воланами, почти прозрачная. Кружевное белье просвечивало сквозь кофточку, сияя безупречностью и белизной. Ее высохшая, маленькая грудь... видны, сквозь батист, родинки на груди... И что-то темное, грубое бугрилось под кружевами... шрамы, что ли?... Она заметила мой взгляд, вздрогнула и вскинула голову. Но головы ко мне не повернула.

Я украдкой глядела, как она ест. Великосветские манеры. Вилку, нож держит изящно, чуть отставив мизинец. Отправляет кусочки в рот достойно. Незаметно, как жует. А еда исчезала с тарелок мгновенно. Возможно, она была голодна, так же, как и я. Упитанностью старуха не отличалась, скорее худобой. Но стать! Но гордая повадка! Ясно, Великая Княгиня, не иначе.

А кто же еще?! Сердце мое замерло. Я впервые в жизни сидела рядом с Великой Княгиней. Да еще и ужинала. Кусок застрял у меня в горле, и я чуть не подавилась от волнения.

– Берите, берите блины с икрой, милочка, – внезапно услышала я над своим ухом хриплый, прокуренный старческий голос, – не стесняйтесь. Где вы еще этак-то поедите в нашем развратном Париже.

Я, вспыхнув, подцепила на вилку два блина, неловко уронила их на скатерть. Старуха улыбнулась. Ни тени смущения не отразилось на ее покрытом сетью мелких морщин, красивом лице. Она взяла блины прямо руками и шлепнула их мне на тарелку.

– Ешьте, детка, и плюньте на них на всех, – повела она взглядом вокруг. – Эта публика – дура. Она и продаст, не заметит. Я знаю их всех как облупленных. Этот Париж, вертеп, всех сгреб под одно крыло. Приютил.

Ее русская речь была великолепна. Чистый, ясный, без шепелявости и картавости, без чужестранного акцента, старый русский говор. Московский?... Петербургский?... Московский, скорее. «Великий» она произнесла как «великой».

Я послушно ела, с красным от смущенья лицом, уткнувшись в тарелку. Отец Николай произнес речь про вечную Россию, землю Божью. Встал, поднял бокал над опустошенным столом. Все съели, а вина еще было много.

– За нашу родную матушку землю! – Он, слегка хмельной, прослезился. Глаза людей за столом тоже увлажнились. Кто-то откровенно, не стыдясь, заплакал, чуть ли не в голос, уронив лицо в ладони. – За единую и неделимую Россию! За ее возрождение! За то, дорогие мои, родные... – слезы задушили его, – чтобы мы вновь увидели на русском троне великого, самодержавного правителя, монарха, Царя всея Руси! Ура!

– Ура-а-а-а!.. – раскатилось над столами. Эмигранты вскакивали, поднимали бокалы, чокались, плакали, целовались, обнимались. Островок Руси в море чужбины. Господи, при чем тут Царь. Красивая сказка для малых детей. Его же никогда в России больше не будет. А эти люди, что они, спятили, смотрят назад, а не вперед. Господи, как же они все одиноки.

Как же одинока я, Господи. И бедна.

Что придумать?! Что сделать?!

Знатная старуха, сидевшая рядом со мной, подняла свой бокал и протянула мне, чтобы чокнуться. Мы прозвенели застольным хрусталем, и звон истаял в общем гомоне и гаме.

– За Россию, – пробормотала я, чокаясь с аристократкой.

– За вас! – неожиданно сказала она и выпила бокал до дна. Поморщилась. – Кислое вино. А я люблю сладкое. Не мог Тюльпанов сладкого у благотворителей заказать. Вы удивились, что я выпила за вас?

– Разумеется, да, – кивнула я головой. – Вы же меня не знаете. Кто я такая для вас?

Старуха пронзительно поглядела на меня из-под серебряного шлема кудрявых седых волос. Ее взгляд оценивал. Исследовал. Проникал в меня. Изучал.

В один миг она поняла про меня больше, чем я сама за годы моей нищенской жизни в Париже.

Я не могла оторвать взгляда от ее старческой груди под батистовой кофточкой. Сверканье золотого фамильного крестика с мелкими каплями алмазов не заслоняло теперь от меня страшные шрамы, глядящие сквозь паутинную ткань. Война... революция... может быть, пытки... выстрелы... скорей всего, ее расстреливали, и она чудом спаслась... Моя подруга в России, врач, показывала мне однажды медицинский альбом: такие шрамы бывают, когда хирург вынимает глубоко засевшие в теле пули. Бедняга. Туго ей в те баснословные годы пришлось.

– Вы пишете? – вперила она в меня копыеносные глаза. Когда-то они были синими. Сейчас... трудно было определить их цвет. Если бы я была художницей и писала ее портрет, я зачерпнула бы кистью с палитры немного зеленого, смешала чуть с белилами, добавила бы

венецианской лазури и разбавила бы мазком охры. Райки выцвели. Выжглись Солнцем чужбины. Вымерзли на скитальческих морозах.

– Смотря что? – Разговор начинал меня интересовать.

– Мне не нужна секретарша. Я спрашиваю о другом. У меня чутье. Вы пишете *belle lettre*? ... Стихи, прозу?...

– Да, а как вы догадались?

Я была изумлена. Неужели на моем лице это написано? Старуха искусный физиономист. Или пишущий человек уже настолько сумасшедший, что его в толпе сразу заметно.

– Это нетрудно. У вас глаза такие... романтичные. Несмотря на голодуху и жуткую нищету, в которой вы здесь живете. И на среднем пальце... вот здесь, – она взяла меня за руку, и я вздрогнула как от ожога – горячая, огненная была у нее рука, – такая характерная шишечка. Вздутие. Мозоль от ручки, от карандаша. Это бывает только у тех, кто много пишет. И что ж? ... Все в стол?...

– Да. Здесь, в Париже, – в стол, – потупилась я. – Кому во Франции нужен русский поэт?

– Ах, стихи... да, да, – старуха покачала головой. – Неистребимая романтика. Вздохи, слезы... лунная дорожка по воде морского залива...

Я выпрямилась, сдерживая легкую обиду.

– Не лунная дорожка, – сказала я твердо, глядя старухе прямо в глаза. – За мои стихи меня выслали из России. Меня ждала гибель в тюрьмах...

– ...или гибель в Париже, – докончила старуха. – Вы выбрали последнее.

– Именно.

– И это было правильно. Вы удрали от властей. Вы спасли себе жизнь. А значит, и вашим стихам. И вашим будущим детям. Вы ведь еще так молоды. – Она вздохнула завистливо. – Вы выйдете здесь замуж. И ваши детки уже станут французиками. И им на дух не будут нужны ваши стишки.

– Не совсем спасла, – улыбнулась я невесело. – Такая жизнь, которою я тут живу... я совсем не думала, что мой Париж, так любимый по книгам, окажется такой...

– ...сволочной. Все так думают. Мы, русские, думаем, что Франция – страна любви и счастья. Ан нет. Не тут-то было. Французский кнут дерет больше русского.

– Это я уже знаю.

– Хотите разбогатеть?

Вопрос был задан в лоб, с разбегу. Я растерялась. И поначалу ничего не поняла.

– В каком смысле?

Старуха помолчала. Искося взглянула на меня, и тут я увидела, какие озорные и молодые у нее глаза.

Она взяла бокал, налила в него остаток белого вина из бутылки и отпила глоток. Перстни на ее пальцах сверкнули и погасли.

Отец Николай уже начинал провожать съевших все до крошки гостей. Желал им по-русски доброго пути, доброго здоровья, долгих лет жизни. Крестил любимцев. Целовал приведенных на праздник детей в щечку. Моя старуха смотрела на меня сквозь вино в бокале, прищурясь.

– Ну что ж, давайте знакомиться. Госпожа Иловойская-Романова, – сказал она и протянула мне руку. Я опешила: не знала, то ли мне пожимать руку, то ли целовать, то ли вообще вскакивать со скамейки и кланяться знатной барыне в пояс. – Можно просто – мадам Мари. Так будет проще для нас обеих.

– Меня тоже можно просто – Елена.

– Значит, Элен. Превосходно. Хотите написать книгу? Роман? Издать его в одном из лучших издательских домов Парижа? У Галлимар? У Фламариона? В «Глобе»? У меня есть выходы на всех. За этим дело не станет. И разбогатеть? И стать знаменитой?

– Знаменитой... Я об этом не думала, мадам Мари. Я слишком тяжело живу.

– Тот, кто тяжело живет, должен думать об успехе в первую очередь. И вы, клянусь, думали. Только ни мне, ни себе не хотите в этом признаваться.

Я вспыхнула.

– Я бы дорого дала, если бы мне удалось вырваться из нищеты! Помогите мне, мадам Мари!

– Я и хочу вам это предложить. У вас смышенное лицо. Если вы окажетесь умницей, вы можете далеко пойти.

– О чем... – я запнулась. – О чем должна быть, по-вашему, книга, обреченная на успех?

Старуха пристально, орлиным взором поглядела на меня. В ее взгляде я прочитала ласковую насмешку, мгновенное воспоминание того, что вспоминать не под силу простому смертному, оценку моего простого вопроса; она словно оглядывала ту жизнь, что прожила, чтобы выхватить из нее памятью самый яркий эпизод. А может быть, она совсем не хотела, чтобы я писала роман из ее жизни? Может, она хочет предложить мне фантастическую выдумку? Love story? Жесткий детектив?

Она раскрыла сумочку, лежащую у нее на коленях.

– Вот мой адрес, – сказала она, протягивая мне визитку. – Рю Санкт-Петербург. Вы ведь уже отлично изучили Париж, неприкаянно бродя по нему взад-вперед? Я жду вас, Элен, завтра в полдень. Начнем работать. А после пообедаем вместе.

– Ну что вы, – сказала я, и снова предательская краска залила мои щеки. – Я приду к вам не голодная.

– Рассказывайте сказки, – махнула старуха рукой. – Продержитесь только до завтра, хорошо? У вас появилась в Париже перспектива.

Она подмигнула мне, взялась за ручки кресла, дернула их и, развернувшись, покатила прочь из обезлюдевшего зала.

На следующий день я явилась к мадам Мари ровно в полдень. Мои русские наряды все поистрепались, и я долго вертелась перед зеркалом, прибрасывая к себе то шарфик, то ленточку – в попытке расцветить бедняцкую серость изношенных платьев. Что за книгу она задумала написать моими руками? Не авантюра ли это? Если авантюра, тем лучше. Я жила такой тусклой жизнью, что мне смертельно хотелось связаться в Париже в историю.

Мне открыл слуга, пожилой лакей. Старуха приветствовала меня, сидя в неизменном кресле. В руках она держала чашку с дымящимся глинтвейном.

– Вы любите глинтвейн, Элен? – с ходу спросила она. – Базиль, принесите, прошу вас, глинтвейну моей подруге.

– Вы называете меня подругой?... Мне неловко...

– Ах, вам неловко? – Старуха рассмеялась. – Да кто же такие люди друг другу на земле, как не друзья... и не враги? Или друзья, или враги. Третьего не дано. Так устроена наша жизнь, Элен. Сегодня мы с вами дружны. И позвольте мне делать то, что я хочу. Я – владелица своего «я». Мое «я» говорит мне, что мы с вами подруги. Дело же не в возрасте. Как вы думаете, сколько мне лет?

Я замялась.

– Я и сама не знаю. Иногда ночью проснусь, погляжу в зеркало. А оттуда на меня глянет красавица. Глаза... волосы... свежесть... Я и зеркало руками потрогаю. И себя ущипну. Все наяву. Щеки, брови... лягу, радостная, потрясенная счастьем, спать. А наутро встану – опять ужас жизни.

«Сумасшедшая, – подумала я опасливо. – Зачем я сюда пришла?»

В то же время меня разбирало любопытство: что она расскажет мне? Смогу ли я, литератор, профессионал, написать – первый раз в жизни – художественный текст по чужим, чуж-

дым мне рассказам? И вообще, как сложатся наши отношения? Может быть, она будет мне... платить за работу?... Я ведь все-таки буду при ней и стенографистка, и машинистка, и сочинитель, и редактор, и корректор...

– Садитесь ко мне ближе, – повелительно сказала старуха. – Начнем, пожалуй! Эта история... – она взяла со стола пахитоску, зажигалку, раскурила, – не моя. Это история моей подруги. Она была красотка и шлюха. Ну да, шлюха. Вы же видели парижских шлюх?

Я кивнула.

– А сами... не подумывали взяться, из нищеты, за это древнее ремесло?

– Пока нет.

– Мне нравится ваше «пока». Оно говорит о многом. Прежде всего о том, что вы умны. Я не ошиблась в вас. – Ее глаза продолжали меня расстреливать. – Итак, записная книжка при вас, ручка тоже, вы пожираете меня глазами. Мадлен! Ее звали Мадлен! Она была потрясающая шлюха. Лучше не бывает. Весь Париж, и великосветский, и трущобный, был у ее ног. Вы, Элен, не знаете, что такое, когда все – у ваших ног?

– Откуда мне знать.

– А я это знаю. И Мадлен это знала! И она была не простая шлюха. Не банальная куртизанка одного из борделей, в изобилии рассыпанных по Парижу, как зерна для голубей. У нее было загадочное происхождение. Вообще, Элен, вся эта история пахнет легендой... вымыслом. Я не знала... – мадам глубоко затянулась, – верить ей или нет. Жизнь ее проходила на моих глазах, но ведь у нее за плечами был еще изрядный кусок жизни, недоступный моему зрению. И то, что я узнавала от нее, повергало меня в трепет. Мы все, эмигранты тех баснословных лет, жили в Париже жизнью не менее тяжелой, чем сейчас вы, молодые. А у Мадлен была вся изломанная судьба. Она была шпионкой.

– Шпионкой?... – Я записывала быстро, старательно.

– Ну да. Этаким Мата Хари. Вы знаете о том, что Джульетта Гвиччарди, та самая, которой Бетховен посвятил «Лунную сонату», тоже была шпионкой?... Крупной международной авантюристкой?...

– Знаю. Я музыкант. Я еще помню консерваторские лекции.

– Вы нецензурны, Элен. Так вот, о происхождении Мадлен и о появлении ее в Париже ходили легенды и слухи... и я вынуждена была верить им. Иначе бы эта женщина перестала верить мне. Мы были два близких сердца. Мы были две сердечных подруги. Мы были одно.

– Одно?... – Перо дрогнуло в моей руке.

Старуха курила пахитоску. Глаза ее блуждали по гардинам, по старинным фотографиям, развешанным по стенам комнаты, по пюпитру рояля, где в беспорядке были навалены старые ноты. Она пребывала сейчас далеко от меня.

– О Боже... – прошептала она, и глаза ее наполнились слезами... – Мадлен... Зачем ты не послушалась меня тогда... зачем я так любила тебя...

Она протянула руку с пахитоской, стряхивая пепел в медную позеленелую пепельницу, и я увидела, как косой солнечный луч, ударивший в окно, высветил у нее на безымянном пальце железное обручальное кольцо.

– Зачем ты условилась с Князем встретиться на балу у герцога Феррарского... лучше было назначить свидание сразу на вокзале Сен-Лазар... под часами...

– Мадам Мари, – я осторожно потрогала ее за руку, она вздрогнула и очнулась. – Расскажите мне все с самого начала. Кто эта Мадлен? Как она жила в Париже? В какие истории она попадала?

– В невероятные, – сказала старуха твердо, овладев собой. Пелена забвения и слез исчезла с ее глаз. Она выпрямилась в кресле, загасила пахитоску и обернула ко мне лицо.

– Записывайте! В те годы Париж кишел заговорами, как тараканами. Мир делился, кроился, рвался на части. Мадлен, как женщину редкой красоты, недюжинной сообразительности

и быстрой реакции, завербовал к себе на шпионскую работу некий барон Черкасов, связанный напрямую с крупной денежной европейской мафией, с масонскими ложами... и, это открылось позднее, с профашистскими группировками. Мадлен выполняла все поручения барона, и он ей хорошо платил. По сути, он выкупил ее из одного знаменитого парижского борделя, который содержала мадам Луиза Краузе, немка по происхождению. В Париже трудно тогда было встретить чистокровного француза. Немцы валили во Францию валом – спасались от надвигающейся коричневой чумы. Итальянцы, марокканцы, алжирцы... испанцы, бегущие от ужасов войны... русские... сами знаете, сколько их было в Париже в те поры, после революции... кишмя кишели... негры... албанцы... этакая дружба народов, столица мира... И Мадлен, чтобы вырваться из тисков жизни в борделе, вынуждена была принять условия игры барона...

Я записывала стремительно. Старуха рассказывала сначала холодно, мерно, раздумчиво, щадя меня, чтобы я успевала писать; потом все более увлеченно, горячо, страстно. За окнами темнело. Перо мое летало по бумаге. Я погружалась в чужую невероятную жизнь, полную любви, ненависти, убийств, чудесных спасений, слепящей красоты, бульварной пошлости, героической отваги. Вот он, живой роман! И сочинять не надо! Он вырисовывался передо мной, вставал, как башня Вавилонская, как огромный царский дворец, сияющий окнами, люстрами, шпилями, скульптурами в нишах. Какие жизни проходили, взрывались, сгорали и умирали! Уходили навсегда! Ведь если бы меня не сослали в Париж, я никогда бы не узнала эту историю, этих людей, борьбу света и тьмы в живых когда-то, страстных душах. Я дрожала от возбуждения, пот выступил у меня на висках, я продолжала записывать за мадам Мари, курившей одну пахитоску за другой, хрипло говорящей – за всех персонажей, то вскрикивающей, то опускавшей голос до шепота. На улице стемнело. Наступил февральский парижский вечер. За окнами мела легкая метель.

Мадам остановилась, откинулась на спинку кресла. Вцепилась руками в поручни.

Я подняла глаза от записной книжки. В темноте я плохо различала буквы, царапала наудачу.

Я увидела, как побледнело ее лицо.

– Элен, – позвала она слабым, тающим голосом. – Как вы думаете, который час?... Я утомила вас. Не пора ли нам пообедать... верней, уже поужинать?... Не уходите от меня. Развлеките старуху.

– Что вы! – вскричала я и пожалала ее прохладную высохшую, пахнущую табаком лапку. – Разве я вас брошу вот так!.. Встану и убегу... Конечно, нет. Давайте я помогу накрыть на стол... принесу посуду, что-то из еды... где это все у вас?...

– Не трудитесь, – слабо улыбнулась она, – Базиль все сделает, скажите ему. Я побуду одна, пока вы с ним хлопочете. Пусть все принесет сюда на подносе. Он знает. Ступайте.

Я выбежала в прихожую и позвала лакея. Мы отправились вместе на кухню, я помогала старику резать сыр, ревеня, заваривать кофе, жарить яичницу – готовить постине царские блюда.

Когда мы, с подносами, с плетеной хлебницей, полной хлеба, вошли в комнату и зажгли свет, мадам уже спала. Ее голова была откинута на никелевый ободок спинки кресла, с которым она срослась, которое ненавидела. Рука лежала в складках юбки. В пальцах торчала потухшая пахитоска. Железное кольцо тускло светило в полумраке.

Я приходила к мадам Мари каждый день и записывала за ней все ее рассказы. Мы работали подолгу. Она сама увлеклась, загорелась. Радостно встречала меня. Спрашивала: «Ну, как там двигается наше искусство?...» Дома, у старикашки, я действительно занималась «искусством» – превращала поток воспоминаний, рассказанный мне с высокой степенью доверия, так странно и неожиданно, в настоящие романские главы, увязывая воедино разрозненные собы-

тия, разбросанные во времени положения, явь и сны, бредовые видения и жесткую, жесткую реальность. Я писала роман от отчаяния, и, честно сказать, без надежды издать. Ни в какие рассказы мадам Мари о знакомствах в громких парижских издательствах я не верила. Она была слишком стара для того, чтобы поддерживать прежние связи в интеллектуальном мире Парижа, а люди, знавшие ее когда-то, наверняка забыли ее. Я писала этот роман, утешая ее, поддерживая, заслоняя ее от близкой смерти свеженеписанными страницами, так, как воробья заслоняет воробья от зубов страшной кошки. И я говорила себе: пиши, Елена, пиши, это зачтется тебе – на этом ли, на том свете, все равно.

За время писания романа я крепко привязалась к мадам. Она все время старалась накормить меня, и я сильно смущалась, ведь не в еде был смысл моих к ней приходов, хотя я, вечно голодная, приучилась не отказываться, если тебя угощают, и пообвыкла обедать и ужинать с мадам вдвоем. Базиля на трапезу никогда не приглашали. «Он ест у себя в каморке, – отмахивалась мадам. – Он нелюдим. Я не настаиваю.»

Я читала ей вслух все беловые тексты. Она слушала внимательно. То улыбалась. То хмурилась. То нервно закуривала. То блаженно закрывала глаза. Она снова переживала жизнь, знакомую только ей, а я была лишь ее орудием, лишь инструментом, призванным сработать книгу.

Кроме всего прочего, мадам давала мне денег. «Работа есть работа, – сказала она безапелляционно. – Вы работаете – вы должны получать за работу. Надеюсь, в России еще не отменили этот закон? Тем более во Франции. Считайте, что это ваша маленькая служба». И улыбнулась мне молодой улыбкой.

Денег было немного. Ровно столько, сколько надо было, чтобы продержаться в брюхе такого прожорливого чудища, как Париж. Я была благодарна мадам и за это.

Что стало бы со мной, если бы не было мадам? Я часто задавала себе этот вопрос. Ни я, ни Париж, ни мои редкие друзья из родного мира эмигрантской нищеты и бедноты не могли дать на него ответа.

Наступил момент, когда я поставила точку в последней главе. Это произошло у меня дома, в моем тесном закутке, в отсутствие моего старикана: он ушел на набережную Сены кланчить милостыню, как всегда. В иные дни старичок приносил в шляпе горсть монет и бумажек. В иные – ни сантима, чаще всего в дождливую погоду. Парижане всегда бегут, спешат. Особенно под дождем.

Я сидела под лампой, в комнате было прохладно, я грела о лампу руки и тупо глядела на последнюю фразу романа, вышедшую из-под моего пера. Это было все. И что? Теперь надо сказать мадам Мари adieu? Грустно. Все закончится. И наша дружба, и история Мадлен, к которой я успела привыкнуть и которую видела подчас так ясно, будто бы сама знала ее и беседовала с ней; и наши совместные обеды, и смех, и воспоминания о России, и куренье смешных длинных пахитосок, и... деньги. Деньги. Да, мой заработок. Откуда я теперь возьму деньги на жизнь? Меня обдало холодом. Опять поиски работы, бестолковые, мучительные, изнуряющие. А по нахождению – бездарный, монотонный, грязный труд – мытье посуды в кафе, мытье окон и лестниц в магазинах и туалетах. Роман? Он лежал передо мной, светясь изнутри, сверкая золотом ушедших жизней. Кому он нужен? Я не верила, что его издадут. Во-первых, я писала по-русски, и надо было еще найти переводчика на французский, чтоб роман смог пробежать глазами издатель-француз, и, разумеется, заплатить ему. А во-вторых, я просто не верила, и все. Мне казалось это волшебным, несбыточным сном. Лишь во сне я открывала свою книгу, гладила переплет, нюхала страницы, оттиснутые свежей типографской краской... У меня и в России никогда не было книги. Мои стихи народ переписывал с рукописей. Вот и еще одна рукопись готова.

Только как теперь я буду жить, я не знала.

Я уронила голову на руки. Лампа светила мне в затылок, грела. Под моим лицом шуршали бесполезные бумаги, исписанные мной. И тут в дверь постучали.

Мой старик никогда не стучал – он открывал своим ключом. Я подошла к двери, распахнула ее. На пороге, вся вымокшая, отжимая волосы, стряхивая мокрый снег с плаща, стояла моя подруга, тоже русская эмигрантка, Люська. Она радостно сверкнула в меня большими подкрашенными черными глазами из-под фривольной, а la Lisa Minelli, челочки, обрадовавшись, что я дома.

– Я увидела свет в окне и сразу ринулась к тебе, – говорила она весело, бросая небрежным жестом шикарный плащ на меху на безногое кресло, добытое моим стариканом у старьевщика. Я воззрилась на новую, невиданную вещь.

– Привет, Люська, – я поцеловала ее и кивнула головой на плащ. – Откуда такая непозволительная роскошь? Или ты ограбила банк?

Я знала, что Люська жила порой еще беднее меня. Она влачила существование, перебиваясь по-разному: то подпрыгивая нянечкой в многодетных семьях предместий, то подметая конторы, то продавая круассаны и соки на больших сборищах – фестивалях, конкурсах, состязаниях. Она даже завидовала мне, что мадам наняла меня строчить роман. «Счастливая ты, – вздыхала она. – А я вот писать не умею. Только стирать и убираться». Люська приехала в Париж по глупости. По глупости и осталась. Ей не нужны были ни его красоты, ни его история, она мечтала о жизни на Западе, и она ее получила. Мечты не совпадали с действительностью.

Но такой воодушевленной я видела Люську впервые. И богато одетой.

Я перевела взгляд на ее сапоги. Ого! От Андрэ. Лучшая обувная фирма Парижа.

– Просто-напросто купила, котик, – пожалала плечами Люська.

– На что? – Мой вопрос прозвучал глупо.

– На деньги.

– Откуда они у тебя?

Я рада была бы не задавать глупых вопросов, но они сыпались один за другим.

И Люська мне все рассказала.

Оказывается, она все-таки переступила ту грань, которая отделяет просто женщину от женщины-проститутки. И сделала это, после долгих и мучительных раздумий, очень быстро.

– Понимаешь, котик, мне смертельно надоела нищета, – говорила она мне, раскуривая сигарету, в то время как я дивилась на ее костюм от Диора, шарф от Шанель и другие диковины нарядов и косметики. – И я решила попробовать. Ты знаешь, это ведь Париж. И ничего тут особенно страшного нет. И в Москве девчонки этим же занимаются. И везде. И всюду! Ну, мир так устроен. Ну, все на этом стоит! Мужчинам нужны мы! И они за это платят! И платят, представь себе, дорого! Очень дорого!.. Дай мне чаю. У тебя есть заварка?... Я купила тут... полно всего... я же знаю, что у тебя ничего нет...

Люська вывалила из сумки на стол всевозможные яства. Я заваривала чай и думала о Мадлен, героине моего романа. Так вот что нам, женщинам, суждено. Во все времена. Хочешь не хочешь, а идешь на это. Потому что надо жить. А если у тебя семья?! Тогда надо жить тем более.

– У меня сногшибательный любовник, – приблизив губы к моему уху, зашептала Люська. – Делец. Глава фирмы. Не первой свежести, но... уснуть мне не дает!.. А платит!.. Вот, гляди, – Люська вытряхнула купюры из сумки на одеяло моей нищенской кровати, куда усеялась, – и франки, и фунты... и доллары!.. Возьми!.. – Она пододвинула ко мне по одеялу кучу бумажек. – Это я с тобой делюсь на радостях. И знаешь что? – Она остро, пронзительно глянула на меня из-под челки. – Знаешь что я тебе, дуре, скажу? Хватит сидеть здесь и киснуть. Надо делать жизнь. Свою жизнь. У нас, баб, нет другого пути. Ни в России, ни во Франции. Нигде.

– Есть! – попыталась бессильно возразить я. Люська меня даже не слушала.

– Аленка, ты круглая дура! Ну ведь это же все... вот, что на мне... и что еще будет... реально! Я вырвусь из жуткого круга ужаса и бедности! Я поднимусь вверх по лестнице! Вот увидишь!.. Но и ты должна решиться! Я призываю тебя! Это же так просто! И у тебя будет такая красивая, сытая жизнь! Ты забудешь этот мрак... эту жуть, – она приподняла двумя пальцами край моего дырявого ватного одеяла, – в которой ты сейчас прозябаешь! Выйди из болота! Войди в другое пространство!

– Продавать себя?

Я криво улыбнулась. Я понимала правоту Люськи; я знала свою правоту. Мне не хотелось с ней спорить. Я просто очень устала.

– Да, продавать себя! А разве не свой труд ты сейчас продаешь этой твоей мадам?! За копейки... тьфу, за сантимы! За несколько жалких франков, чтоб не сдохнуть!

– Я понимаю, мы все в мире продаем себя. Кто дорого, кто дешево. И те, кто продает себя дорого, знают, на что идут. Они-то и несчастнее всех.

– Почему?! – заорала Люська, трясая меня за плечи. – Я счастлива сейчас! Сча-стли-ва!

– Тихо, не кричи, соседи услышат... Потому что они обманывают других, но себя-то нельзя обмануть. Стать проституткой, проституткой очень легко. Сознательно. Не только от голода. Соблазн роскоши велик.

– А жить всю жизнь как драная кошка, как грязная свинья – не грешно?!

Люська вскочила с кровати и стала сердито резать салями, рокфор, прессованное крабовое мясо. О Люська, неужели жизнь человека – лишь в жратве?! Но Боже мой, Боже, почему я так все время хочу есть?! Убери от меня голод. Возьми от меня жажду. Сделай меня камнем. Бесчувственной железкой. А голод и жажда любви?!

– Что же будет у тебя взамен любви, Люська?!

– Еще и почище других замуж выйду, – сказала Люська с набитым ртом, уписывая за обе щеки бутерброды и крабов. Она тоже, как и я, изголодалась в подвалах и на чердаках Парижа. – Еще как выйду! Позавидуешь! Слюнки потекут! И совмещу приятное с полезным. Выйду за богатого и постараюсь его полюбить. Он будет молодой и красивый. Да ведь и старого полюбить тоже можно. А? Садись, ешь. Нажимай. И советую подумать.

Мы стали думать вместе, поглощая королевскую еду. Люська, вытерев рот, полезла в сумку и вытащила бутылку муската.

– Давай выпьем за твою карьеру, – сказала она мне и подмигнула плутовато. – Я уверена, что ты все равно скovyрнешься. И будешь иметь успех. Но тут надо потрудиться. Это ой-ой какой труд. Это тебе не стишки писать.

Она хохотнула и откусила кусочек салями.

– А как это... делается?...

Я спросила очень тихо. Люська еле расслышала.

– Это?... А!.. Очень просто. Я, например, вышла на панель. Прямо на улицу. И мой фирмач меня тут же и подхватил.

– Тебе повезло, дорогая. Это мог быть шофер... лавочник... вообще бандит. На одну ночь. На минуту. За гроши. Без грошей. С оскорблениями. С побоями.

– Откуда ты про это знаешь? – Люська прищурилась. – Пробовала, что ли?

Я опустила голову. Я вспомнила свою Мадлен.

– Давай прежде муската сперва чаю попьем.

Мы пили чай по-русски, долго, много, прихлебывали, подливали, наливали в блюдечки, дули на горячее, как купчихи. Вспоминали Москву. Смеялись. Хохотали. Плакали. Улыбались. Обнимали друг друга. Люська раскупорила бутылку и разлила мускат прямо в пустые чайные чашки – рюмок у старикана не водилось.

– За тебя, – серьезно сказала черноглазая Люська, моя подруга, и ударила чашкой о чашку. – За то, чтобы ты не пропала. Париж сожрет – недорого возьмет. И никто не узнает, где могила твоя. Вперед!

Когда мы прикончили мускат, была уже глубокая ночь. Я предложила Люське остаться у меня – старикан бродил где-то, верно, уснул на теплых решетках, – но она насмешливо улыбнулась мне, сверкнула черной яшмой глаз.

– Пойду на работу. Самое время!

– Постой... а как же... тот? Твой?...

– Тот?... сам по себе. У меня с ним назначена встреча. А новые – сами по себе. И я сама по себе тоже, – сказала Люська и еще раз, чуть хмельная, подмигнула мне. Она была невыразимо хороша: смуглая, черненькая, румяная от вина, курносая. Таких французы любят, потому что она тип француженочки. Ей, наверно, пойдет беретик, лихо спущенный на ухо. – Пойду зарабатывать деньги. Я узнала их вкус. Пойду в ночь. Ночь – это прелесть. Это охота. Это новые приключения. Это мое будущее.

– Люська, ты нарвешься!

– Я? Нарвусь? – Она презрительно поглядела на меня. – Это ты сгниешь тут заживо, дурочка. Над своими никому не нужными бумагами. А я живу жизнью. Живой жизнью. Да, тяжелой. Да, полной опасностей. Но живой. И интересной. И еще такой, за которую деньги большие платят. Пока! – Она чмокнула меня мускатными губами в щеку. – А то пошли со мной!.. Да тебе не во что нарядиться. Хочешь, я тебе для первого похода... тряпок куплю?...

Она упорхнула. Я осталась одна и стала думать.

Я думала, а рядом со мной на столе лежал мой законченный роман.

И вот что я придумала.

Я придумала идти. Ведь это же так просто.

Но, прежде чем уйти, я решила написать это предисловие к роману. Я не верю, что его напечатают. А если его когда-нибудь напечатают, прочитают и предисловие. Значит, написать его все равно надо, подумала я. И вот написала.

А теперь мне осталось совсем немного. Я оглядываюсь вокруг. Бедность и нищета. И пахнет грязными тряпками и мышами. И нагаром – мы с Люськой жгли свечку. Мы воткнули ее в пустую бутылку, по-русски. Одеваюсь. Накидываю на себя старое штопанное пальто – его мне когда-то в России, давно, купила в подарок мама. Обматываю шею траченным молью шарфом. Мажу губы дешевой коричневой помадой. Тру щеки обшлагом, чтобы были румянее. В Париже февраль, в Париже метель, как в Москве. Смотрюсь в зеркало. Пусть одежда плохая, все равно я красива и молода. Я еще красива и еще молода. Мне еще повезет. У меня нет другого выхода.

Входов много, а выход всегда только один. Или его нет вообще.

Аккуратно складываю листы романа в стопочку. Завтра я отнесу его мадам Мари и попрощаюсь с ней. Я выполнила свою работу, мне заплатили за нее. Все. Пусть берет и делает с ним, что хочет.

Я постараюсь как можно скорее забыть о нем.

Вообще забыть о том, что я могу писать. Что я русская. Что я бедная.

Мне надо помнить одно: начинается моя новая жизнь. Какой она будет, я не знаю.

Заканчиваю писать это предисловие. Выключаю лампу. Завязываю шнурки башмаков.

Иду к двери. Закрываю за собой дверь.

Возвращаюсь, чтобы дописать это.

Вот это: СПАСИБО ТЕБЕ, МАДЛЕН.

## ГЛАВА ВТОРАЯ. ПАВЛИНЬЕ ПЕРО

Веселый Дом на бульваре, в Столице, в Пари! Как прекрасна вечерняя набережная реки, – ее все зовут Зеленоглазой, как девушку, которой признаются в любви. Шелест каштанов. Резные листья. По весне – бело-золотые свечи цветов в кругло постриженных кронах. Зимой уличные продавцы жарят каштаны на огромных сковородах. Пар и вкусный запах поднимаются в сырой снежный воздух ультрамаринового ледяного вечера. Прохожие покупают жареные клубни. Катают на голых ладонях. Едят, греются, бросают крохи голубям.

Так много голубей на набережной Гранд-Катрин! Голуби – в небе: крохи белого хлеба, подброшенные ввысь. Кормитесь, люди, красотой. По Зеленоглазой плывут утки. Девушки из Веселого Дома, гуляя по набережной, бросают им еду в воду, и утки ловко вытаскивают клювами подачку из зеленой толщи воды.

А летом! До чего хорошо летом на Гранд-Катрин! Мятая нахалом-ветром зелень насквозь просвечена Солнцем. Солнечные пятна рассыпаны золотыми монетами повсюду – на старых грубых камнях, помнящих древних королей, на розовом и голубом шелке женских платьев, на бронзовых памятниках полководцам и поэтам, позеленевших от старости и тоски, и река вся искрится тысячью ослепительных огней. Желтые солнечные пятна сшибаются, крутятся, гуляют где им вздумается, залезают под юбки вертихвосткам, целуют голые плечи и локти разносчиц крабов и устриц – на больших лотках, прицепленных к шее широкой лентой, несут разносчицы дары северного моря, и бойко покупают устриц люди, особенно пьяницы – устрицы, сбрызнутые лимонным соком, незаменимы к коньяку или арманьяку... а что, в Пари все пьяницы?... В Пари знают толк и вине и сыре. Ну, и в устрицах, конечно...

Мадлен медленно шла по Гранд-Катрин, вертя в руках ручку кружевного зонтика, оглядываясь по сторонам наметанным глазом. Давно прошло то время, когда ее, девчонку, продал сюда, прямо в руки мадам, человек в парике, изловив на маскараде. Как ее мыли тогда... терли жесткими щетками... она вырывалась из рук, билась, кричала... взрослые девицы с засученными до локтей рукавами силком усаживали ее в чугунную ванну, беспощадно намыливали живот, голову, лицо, терли, терли... Она плакала от мыла, щипавшего соленые веки... Вместо панцирной койки – мягкие диваны, пуфики, роскошные необъятные кровати с множеством подушек и подушечек; вместо карцера с мотающейся под известковым потолком страшной лампой – столики на колесах, на них горничные в белых фартучках катят поутру, в будуары девушек, прелестный завтрак, «маленький перекус», как его называют в Пари, – пушистые горячие булочки-круассаны, сливовый и персиковый джем в вазочках, коровье масло – слитки живого золота, сливки в фарфоровых молочниках с позолоченными краями, свежие апельсины, соки в хрустальных графинах, молодое розовое вино, мелко и крупно нарезанный сыр на большой, как площадь, тарелке – сорок сортов: сыр в Пари любят и ценят, окрестные крестьяне заняты выделыванием новых сыров, но и старые в почете – камамбер, рокфор, голубой сыр. Что за жизнь, Мадлен! Перекрестись!.. Выругайся!.. Ущипни себя!.. Она защищала себя до синяков: видение не уходило. И ударившая ее по щеке мадам теперь тепло смотрела на нее, и во взгляде ее лилось и капало на одряблые щеки и ухоженные дорогами кремами скулы, торчащие над кружевом воротника, – масло, масло, масло. Масленные, довольные глаза. Мадлен не тревожили. Мадлен говорили: отдыхай, ешь и пей. Набирайся сил. Для чего? Она не знала, что такое Веселый Дом. Ни криков, ни смеха, ни битья бутылок, ни любовных стонов она не слышала в том крохотном, обитом атласом в мелкий цветочек будуарчике, где ее поселили одну. Она догадывалась. Она прислушивалась ночью – ушки на макушке. Ни звука. Стены в заведении мадам Лу были толстые, как в крепости или замке, и ни дыхание, ни музыка, ни истошный вопль не просачивались через мощную каменную кладку.

Как давно это было.

Какая глупенькая она была.

Ее откармливали, мыли, мяли, умащали благовониями лишь для того, чтобы увеличить ее свежую, юную красоту, дать ей расцвести бешеным, пышным цветом. Мадам знала толк в мытье и массаже, в соках и фруктах, в мазях и притираниях. Через месяц Мадлен было не узнать. Ее выпускали погулять. Прохожие, завидя ее, остолбенело останавливались и так застывали посреди улицы. Она гуляла, а за ней всегда, чуть поодаль, шла гримза, приставленная мадам. «Стереги! – было строго сказано гримзе. – Если эта птичка упорхнет – я лишусь будущего. Эта девочка – мое состояние. Она необыкновенна. Если с ней что случится – прощайся со своей головой». Гримза не спускала с нее горящих, сумасшедших глаз, шурша подошвами по брусчатке. Мадлен любила кормить уток. Она захватывала с собой хлеб, оставшийся от сытного обеда, и кидала его птицам. Они крякали благодарно и призывно. Ах вы, утки!.. Селезню, селезню дайте. Вон он плывет, разноцветный. Голодный. Вы все сожрете, противные женщины. И крошки ему не побережете. А он вам, небось, подарки делает – жучков, паучков... Ха-ха-ха!.. На, лови!..

Крошка летела с парашюта селезню прямо в клюв.

Мадлен перегибалась через парапет, каменная кромка врезалась ей в живот, она сильно наклонялась, чуть не падала в воду, и гримза подсакивала к ней, хватала ее за подол платья, тянула обратно. Дура девка!.. Если ты свалишься в Зеленоглазую, тебя смогут выудить только рыбаки у Аржантейля – и то не сетями, а крючками, на блесну подцепят!..

Настал день, когда мадам все сказала ей.

Все, что она должна делать в Веселом Доме; как отныне жить.

И, выслушав это повеление жить, Мадлен послушно наклонила пышнокудрую золотую голову.

Иди, иди медленно, верти зонтиком, гляди по сторонам. Знакомься, только осторожно. В Пари много людей-жуликов, людей-пройдох, людей-прощелыг; довольно также и людей-бандитов, людей-разбойников, людей-чудовищ. Девушки не раз рассказывали про таких. Она улыбалась. Значит, господин Воспитатель был настоящим чудовищем. Ха, ха. А они-то и не знали.

Знакомься, кивай золотую головкой, давай поцеловать на прощанье ручку, оставляя адресок. Назначай время свидания. Место встречи – твой будуар в Веселом Доме. Только уже не тот, маленький, как спичечный коробок, где она ютилась в первые месяцы пребывания у мадам. А большой, изумительный, весь в бархате и атласе, – царская опочивальня, а не девичья спальня: блестящие наволочки цвета неба и зари вышиты золотыми вензелями – везде буква «М», и обычная, и перевернутая, и даже в виде двух целующихся голубков. Ах, Мадлен, сделай ротик бантиком!.. Хорошо, Кази, вот тебе воздушный поцелуй. Она целовала свои пальцы и воздух, делала губки бантиком. Кази была в ладоши и смеялась. Будуар был дан им на двоих, и у Мадлен появилась подруга. Откуда родом? В быстрой и живой речи Кази проскакивали родные нотки. Она произносила «р» твердо, не как коренные жители Пари – катая в горле кошачье рычание. Иногда во сне она бредила на родном языке, и Мадлен, привстав на локте, с испугом глядя на напарницу, слышала в сбивчивых бессознательных рыданиях знакомые, сильно исковерканные на чужой лад слова.

О, солнечный день! И лето! То жара, то дожди. Они налетают с Севера, эти черные и синие тучи. Сталкиваются бычьими лбами. На Пари обрушиваются мешки с каменным громом, в крыши, окна и двери, в зазевавшихся прохожих бьют синие молнии, вызывая пожары, калеча, убивая насмерть. Мадлен любит грозу и молнии. Как ей весело тогда! Она сама хочет молнией стать. Из черных туч ударять в трусливую, приличную, уютную землю. Земельку. Она, небесная богиня...

– Девушка, вы красивы, как богиня!.. Разрешите вас проводить?...

Солнце бьет ей в глаза. Она щурится. Не видит задающего вопрос из-за прижмуренных густых ресниц.

– Пожалуй... если вы будете себя хорошо вести.

Она заслоняется от Солнца белым атласным зонтиком и со смехом смотрит на вставшего перед ней во фронт, как перед генералом, мужчину. Да, это крупная рыба. Осетр. Или даже тунец. Перламутровый брелок свисает на груди; ежик стильно подстриженных волос; на лице – печать довольства, сытости и защищенности: той, что дают не просто и не только деньги, а наследуемое многие века, незыблемое положение в обществе. Людское море, копошащийся муравейник, человеческий океан. Он выплыл на нее. Тем лучше. Хоть она и вассалка мадам, в ее златокудрой головенке прочно засела заноза свободы. Что за кровь течет в ней? И куда ее тянут незримые крылья за плечами? Она устала ложиться под мужиков, хоть бы и под богатых. Она приносит мадам Лу деньги, о которых скромная бандерша и не мечтала. Уже куплен новый Веселый Дом на набережной, рядом со старым, и завтра новоселье. Уже заказана мебель от Дюфи. Уже пошиты бальные и карнавалыные платья всем проституткам, служащим у мадам пожизненно – до первой морщины на лице. Лучше одна морщина на лице, чем две морщины на чулке. Уже привезены корзины с ананасами и виноградом с низовой Роны, гаронские персики, марсельские омары. Щедрая Эроп! Сколько в тебе даров! И все это можно купить за деньги. И все эти деньги для мадам заработала она, Мадлен. Ух! Завтра и повеселимся! А когда пробьет час свободы, повеселится она одна. Над ними над всеми посмеется.

– Пойдемте вместе... в ногу, – улыбнулась Мадлен. – Вы служили в армии?... Вы умеете ходить в ногу?... Шагом марш?...

Аристократ рассмеялся. Приятный баритон, низкий голос. Такие голоса бывают у певцов. У нее были среди клиентов певцы. Один по ночам вскакивал с ложа, задирает голову к потолку и заливался. Извлекал из глотки рулады и трели. Она хохотала как безумная. Потом он бросал в нее виноградом, и она должна была ловить каждую ягодку ртом.

– Служил, милая девушка. Ничего хорошего там нет. Скука одна. И муштра. А то, бывает, солдаты вешаются с тоски. Не выдерживают. А мы, офицеры, вынуждены ковыряться потом в этом дерьме – что да к чему. Хотите кофе?... Здесь есть приятная терраска на Плас Коко. Не откажетесь от чашечки?...

Голос приятен, манеры благородны. И все они ведут к одному. Мадлен прикрыла рот рукой в белой лайковой перчатке и обреченно зевнула. До чего надоело. Надо сменить пластинку. А пластинку-то поставила не она. И игла шипит, и диск крутится, и хрипая музыка все терзает и терзает слух.

Они уселись на террасе под тентами за крохотным круглым столиком. Солнце играло на начищенных башмаках мужчины, искрило в поддельных алмазных сережках Мадлен. Она выглядели красивой парой. На них засматривались. Перешептывались у них за спинами. Пари – город сплетен. Девушки, как сороки на хвосте, приносили одну сплетню за другой, обсуждали, хохотали. Она никогда не принимала участия в болтовне, сплетающей косы из людских судеб. Ей было довольно собственной судьбы.

– Два кофе, гарсон, прошу!.. и два мороженных...

Мадлен, изящно отставив пальчик, поднесла ко рту чашку с крепким и густым бразильским кофе. Над чашкой поднимался пар, он окутал губы и зубы Мадлен, будто бы она дышала в варежку на морозе.

– Вы отгибаете пальчик, держа чашечку, как купчиха из страны Рус, – проговорил мужчина, радостно наблюдая за ней. – Только самовара на нашем столе не хватает. И бубликов. И пряников.

– Вы знакомы с обычаями чужих земель? – весело спросила Мадлен, прихлебывая кофе. – Вы долго жили на чужбине?... В Рус?... И как вас там кормили?... Вкусно?... Судя

по всему, купчихи Рус произвели на вас неизгладимое впечатление. Что такое... бублики?... И пряники?... Хочу попробовать.

– Специально для вас я закажу их в кондитерской, где работают кондитеры родом из Рус. Идет? Где вы живете?

– Ого, вы сразу к делу. Идет. Закажите. А я вас приглашаю.

Мужчина усмехнулся, выражая всем видом: знаем, с кем имеем дело.

Вытащил записную книжку в богатом черепаховом переплете, ручку с золотым пером. Открыл страницу. Наклонился выжидательно. Глянул на Мадлен исподлобья.

– Итак?...

– Итак, я приглашаю вас на бал, который дает моя... тетушка... в честь нашего новоселья. Мы закатываем роскошный пир. Мы... купили новый дом! Вы не представляете, до чего великолепный!.. Там комнаты... анфилады... закутки с чайными столиками... залы для пиров и приемов... это просто дворец! Тетушка на седьмом небе от счастья. А я и подавно.

– Кто приглашен на бал?

Его голос посерьезнел. А он-то полагал, что это всего лишь красивая шлюшка. Сунул записную книжку в карман.

– О!.. Знаменитости Пари. Тетушка всегда приглашает знаменитостей. Известные графы... князья... художники, скульпторы... мой портрет уже не раз писали... в кабинете у тетушки висит, хороший, кисти Венсана... Учредитель всемирной премии за лучшее произведение в науке и искусстве... забыла, как его зовут!.. усатый такой, смешной, он изобрел новое убийственное оружие, которым можно убить все живое на расстоянии... и много всяких чудесных других людей... венецианские дожи... магрибские купцы... волхвы... Каспар... Бальтазар... Мельхиор... и даже... даже Таор, принц Мангалурский...

– Вот болтушка! – Когда он улыбался, вокруг его рта разбежался веер смешных морщин. – Верю, верю. Ваша тетушка, верно, очень знатна, если к ней на бал съезжаются такие высокие гости. Может быть, вы пригласите на ваш праздник и графа Анжуйского?

– С удовольствием... граф!.. Мадлен...

Она протянула ему руку для поцелуя. Он чуть коснулся усами белой лайки на ее запястье. Сверкнул в нее глазами.

Их взгляды, синий и черный, сошлись и зазвенели, как два копыя.

– Вы прелесть. Сознаюсь, я думал...

– Что думали?

– Ничего особенного. Так.

Они помолчали, допивая кофе и принимаясь за мороженое, наложенное в серебряные вазочки разноцветными горками. Боже, какая вкуснота. Мадам никогда такое не заказывала. Может, это оттого, что сегодня такой солнечный день?

– Вы ослепительны, Мадлен.

– Это все Солнце.

Сережка Мадлен отстегнулась от розовой мочки и упала в мороженое.

– О!.. выловим ее...

Они ковыряли ложками в вазочке, ища алмазик. Найдя бирюльку, граф вытер ее батиловым носовым платком.

– Вот ваша пропажа. Как имя вашей тетушки?... Наверняка я знаю его. Оно знаменито, если она на коротке с людьми, что придут на ваше новоселье.

Мадлен молчала. Что толку выжидать! Бухайся сразу головой в воду.

В грязную, мутную воду Зеленоглазой.

– Мадам... мадам Лу.

Граф вздрогнул. Его глаза сначала потемнели, потом налились безумным смехом. Он еле сдерживал смех. Не вышло. Он расхохотался бурно и неудержимо, роняя локтем вазочки с недоеденным мороженым, откидываясь на соломенном стуле, отдуваясь.

– Мадам Лу!.. Так вот что!.. Ха, ха, ха!.. Это поистине знаменитое в Пари имя. Приду... конечно, приду... с превеликим... а... что... она где вас раздобыла?... Такой пышный золотой цветок в ее розарии... вы, должно быть, затмили там всех... всяких гризеток и белошвеек... с вашей царственной внешностью... вы могли бы...

– Замолчите!

Мадлен вскочила. Он слишком много болтает. Хоть бы он и был граф. Она не любит болтунов. Она не позволит, чтобы...

Она вскочила из-за стола. Схватила кружевной зонтик.

– Не подходите ко мне!

Побежала. Граф двумя большими шагами догнал ее.

Ему не хотелось упускать добычу.

Прелестное развлечение. Мать его не осудит. Невеста никогда не узнает. Он размеренно и разумно жил свою жизнь. Шлюха мадам Лу!.. Это все равно, что в большом свете: принцесса Саксен-Кобургская, княгиня Гессен-Дармштадтская, герцогиня Готторп-Голштинская. На весь Пари гремит ее Веселый Дом. Они переезжают? Тем лучше. Будуары будут просторнее. Вина – изысканнее. Интересно, какие вина у них подают к столу?... Когда девки просто обедают, скучая и зевая... а?...

– Стойте!

Он схватил ее за руку. Она вырвала руку.

– Не смейте! Вы же знаете, кто я!

– Тем более. На что вы обиделись? Мороженое не доели. Что вы больше всего любите, деточка? Я куплю и подарю вам. Миногу в собственном соку?... Угря?... Бананы?... Чурчелу?... Не стесняйтесь. Мой кошелек в вашем распоряжении.

Он засмеялся опять, весело, заразительно. Взял ее за локоть и не отпускал.

Они пошли дальше вдвоем, и Солнце освещало их, нежно бродило по обнаженным плечам Мадлен, по кружевной манишке графа. Солнце, зачем ты помирило нас. Лучше было бы поссориться сразу.

– Я приду на бал. Когда?

– Завтра... в десять вечера.

– Где Дом будет теперь?...

– Набережная Гранд-Катрин... восемь...

– Вы же смелая девушка. И у вас уже богатый жизненный опыт. Почему вы меня боитесь? Она пожала плечами. Посмотрела прямо ему в глаза.

– Не знаю. Предчувствие.

– Солнце слишком сильно печет?... Вы не боитесь солнечного удара, а боитесь меня?...

– Мои волосы цвета Солнца. Они очень густые. Я могу ходить без шляпки, без зонтика.

– И вы боитесь, что не сможете ни в зной, ни в холод обойтись... без меня?...

Мадлен наклонила голову. Сережка, выпачканная в мороженом, холодила ей ухо.

Ей нечего было ответить.

– Девочки, девочки!.. Быстро одеваться!.. Сейчас, через несколько минут, начнут съезжаться первые гости! У вас ничего не готово!.. Музыканты приглашены?... Почему не отглажены шторы у Риффи?!.. Вы позорите меня... свиньи!.. Ни у кого нет вкуса... а неуклюжи, неповоротливы... слонихи... сидите вы на моей шее... Я со стыда сгорю, если... о, вот и звонок!.. Розы, распорядись на кухне, пусть несут торты на серебряных подносах! Лимонад охла-

жден?!.. Ни кусочка льда летом не достать!.. Мадлен, погляди на лимонад своими синими ледяными глазами... и охлади...

Мадам ворчала беззлобно. Гости прибывали. Перья на их шляпах тряслись. Аромат цветочных и пряных духов свивался в узлы, реял маревом, разливался по залам и анфиладам. Вот прошел призрак ромашки. Вот на глазах расцвел тюльпан. Раджи Востока, вы только что сошли со слонов, ваши распяленные ноги устали, они похожи на ухват от долгого сидения на благородном животном. Отдохните на карнавале у мадам. Не пожалееете. Ведь вам после ночи любви опять возвращаться к поклонам и намазам.

Маски надвигались глубже на глаза. Лиса держала нос по ветру. В прорезях для глаз сквозили иные века; девушка с волнистыми, распущенными по сахарным плечам волосами играла на лютне. Это девка мадам Лу?... Заткнитесь, сударь, не оскверняйте божественный воздух праздника своим непотребством. Как же вы не узнали. Это Джульетта. Она осталась жива, и Маттео Банделло стал ее любовником. А потом ее увидел один старый венецианский дож, похитил ее и женился на ней. Они выплывали на гондоле в час вечерней зари на кривое зеркало розово блестящей лагуны, и плыли медленно, важно, и догаресса запевала песню, и ее юный голос далеко разносился в сонном морском воздухе, и пахло креветками, водорослями, крабами, лимонами и померанцами; и старик сидел недвижно, каменно, хотя ему больше жизни хотелось поцеловать молодую жену. Он не смел. Луна увидела бы все. Он хранил тайну их любви – союза старости и юности – от всякого ревнивого глаза, земного и небесного. Он шептал ей, сжимая ее в объятиях: «Забудь Ромео. Ты все еще помнишь о нем?...» Джульетта, ты помнишь Ромео?... Нет?... Да?... Молчит... Играет на лютне... Не задавай глупых вопросов, фраер.

Девочки, танцуйте бойко, иначе мадам побьет вас. За нерадивость; за лень; за скуку. Девушка никогда не должна скучать. Мадам, дайте мне веер!.. Мне не дали веера... Ах ты капризка. Веер ей подай. А сама не смогла сшить?!.. Из павлиньих перьев, что продает старуха Дрюон на улице Вожирар?... Мода сезона – перья павлина! Всюду: в прическе, на шапках и шляпах, в веерах, на задах пышных юбок, за корсажем, за поясом, просто так – в руке, в кулаке. Говорят, это плохая примета: если подарят павлинье перо – будет большое несчастье. Вы знаете, Царю из земли Рус подарили... и что же?...

А что?...

А ты разве не знаешь, что с ним случилось?...

У нас одна девка знает... Мадлен... новенькая... та, что похожа на подсолнух...

Да нет, она похожа на дочь фараона...

На парадной лестнице Веселого Дома стояли солдаты в плюмажах, вдоль перил горели факелы, и пламя билось и дрожало на сквозняках. Катился цветной водопад с мраморных скал. Гости, о, я задыхаюсь от похвал и приветствий. Персик мне – вон с той тарелки – бросьте... Вы едите персик прямо с пушком?!.. У вас такие дикие манеры... Это придает...хм... очарование...

Он показался на пороге зала, одетый в костюм тореро.

Она приблизилась к нему, играя веером. Каждое перо в веере оканчивалось темно-синим глазом, отсвечивающим зеленым светом, заключенным в ярко-золотой обод – так, как зимняя Луна бывает заключена в морозное гало.

Ее глаза из-под веера. Какое пламя в них. И ужас. И радость.

Неужели она – шлюха?

И Олимпия была шлюха. И Аспазия была шлюха. И Магдалина была шлюха. И Таис была шлюха. И...

Эй, вы! Шлюхи! Остановитесь! Танец еще не объявлен!

Не слышат. Безумствуют. Кружатся в вихре.

Для чего он оделся матадором? Неужели она – бык?

Золотой бык. Ты забодаешь трусливого тореадора. Напрасно он выпятил грудь, расшитую золотом так густо, что золотая рубаха не может согнуться и он не сможет наклониться, чтобы поцеловать тебя.

– Мое почтение, прекрасная Мадлен.

Низкий, насмешливый поклон. Лосины, туго обтягивающие худые длинные ноги. Он похож на коршуна. Усы нервно подергиваются. Красную тряпку он сжимает в кулаке. Мулету?! Дразнить какого быка ты собираешься, граф Анжуйский?!

– Рада видеть тебя целым и невредимым на арене, мой прекрасный тореро, – дерзко сказала Мадлен, сверкая в графа глазами и поворачиваясь так, чтобы он мог видеть кровавую розу в ее лежащих медными кольцами волосах, и ее босые ноги. Она, как нарочно, была одета танцовщицей, гитаной. Желтоволосая цыганка. Это странно и дико. Она умеет плясать фламенко? Да, умеет. Она лучшая плясунья в Пиренеях. Ее выкрали из цыганского табора.

Он тоже ее украдет. Из вертепа старой шлюхи Лу.

Тореро взмахнул мулетой. Тряпка полоснула по духоте.

– Иди, иди сюда, бычок. Где твои рожки?

Мадлен наклонила крутолобую голову. Глянула исподлобья.

Тореро повел мулетой около носа танцовщицы.

– Ты будешь мой, бычок! Поглядим, на что ты способен. Как ты сражаешься. Может, у тебя и рожек-то нет. И копытца дырявые. И к хвосту колокольчик привязан.

Мадлен ринулась на графа. Хотела шутки, а получилась драка.

Удар. Еще удар. Тело зверя, как ты бьешься. А я тореро. Я покорю тебя, пригну за рог к опилкам арены. Девчонки, что визжите?! Не видали корриды?! Мадам, мадам, да отстаньте вы с вашим ледяным лимонадом! Я не пить сюда пришел. Не курить кальян и опий. Не кататься верхом на ваших вымуштрованных девчонках на обитых бархатом диванах. Я пришел, чтобы взять свое. И я возьму.

Она била его наотмашь всем телом. Бодала головой. Ударяла лбом. Выставленными вперед пальцами колола. Он хлестал ее красной мулетой. Хохотал во все горло. Смех летал по анфиладам, заполнял углы и закутки, исчезал в зазывно распахнутых спальнях. Смех мазал алой краской по набеленным мелом и нарумяненным румянами щекам напуганных девиц, по застывшим в ахе губам гостей, по катящимся по паркету и коврам ананасам и апельсинам.

– Коррида! Коррида! Человек и бык! Зверь побеждает человека!

– Это Мадлен, что ли, забавляется?...

– Смотрите! Он душит ее!

Тореро нацепил на шею быку красный скомканный лоскут, стал стягивать тряпку за углы вокруг глотки.

Он сошел с ума. Он далеко зашел. Не надо было играть и заигрывать.

Близко перед собой он видел ее глаза. Ясные, цвета грозового неба, глаза, и не было в них ни капли испуга. Она глядела твердо и прямо. Глаза говорили: ты силен, матадор, но я сильнее. Бык всегда сильнее тореро, даже если тореро убивает его. Женщина всегда сильнее мужчины, даже если мужчина придумал свою женщину от волос до кончиков ногтей. Пусть мужчина думает, что он – Бог. Его всесилие – сказка. Ветхая красная тряпка, ею закрывают бледное лицо мертвого тореро, когда его несут на носилках, уносят с опилок арены под выкрики и рыдания толпы, потрясающей ногами и кулаками.

– Мадлен, – его хрип раздался около ее уха.

Глаза сказали: «Еще немного, и ты разом покончишь с тем, что еще не началось.»

Он чувствовал ее дрожь. Ее тело ходило ходуном, колыхалось, как ветка под порывами ветра. Глаза говорят: смерть, не боюсь тебя, а тело говорит: жить хочу. И дожить до утра. А днем – дожить до вечера. И так всегда. По кругу.

Он ослабил хватку красного шарфа, отпустил. У него потемнело перед глазами.

А народ плясал! Ведь это был бал! Прелестный бал в публичном доме – вы на таком танцевали когда-нибудь?!.. Можно сдернуть лиф. Выпустить грудь наружу. Можно разорвать и отшвырнуть верхнюю блестящую юбку, остаться в нижней, белопенной и кружевной; а если надоест и она – прочь и ее. Танцуй, танцуй, великий люд Пари! Верти своих ненаглядных милоч! Закружи им головы! Их расчетливые, холодные, жадные головы! Они всегда лишь денег хотят. Сделай так, народ, чтоб они повеселились хоть чуть-чуть от души. Забыли о блеске монет. Пляшите! Мадам заплатила за все! Мадам щедрая. Она и бьет-то нас не сильно, а будто лаская. Любя. Будто целуя, бьет.

Вон они, обнялись, сплелись в танце – апсара и Шива! Ее грудь обнажена. И он так целует родинку меж ее грудей, что его голова, обвешанная бриллиантами и бирюзой, кажется огромным тяжелым украшением, висящим на шее апсары.

Сдернули, вспотев, разгорячась, платье и золотая Жанна с дофином. Золотая Жанна, где ты привязала своего коня?... На улице Риволи, господин. Ты кормила его овсом?... Да, господин. Ты любишь своего дофина?... Да, господин. Нет, господин. Я не люблю его, господин. Я думаю, что я люблю Бога своего, господин. И пусть меня сожгут на золотом костре. Это моя первая и последняя любовь, господин, кто бы меня ни распинал на кошмах и подстилках, на соломе и сене, на тряпье и обносках, на атласе и бархате. Костер мой, золотой, шелковый, богатый. Языки твои драгоценные взвиваются до небес. Лишь эту любовь люди будут вспоминать. А то, как я лежала сначала на дофине, потом он на мне... кому интересно это, господин? Такое, видать, и у тебя в жизни было.

Они слились в поцелуе, Жанна подмигнула. Ускакали, обнявшись. Полуголые. Смешные. Вся выкрашенная золотой краской, Жанна задыхалась, покрывалась вонючим, болезненным потом. Ее не предупредили, что если она вовремя не смоеет с тела краску, то умрет. Жанна!.. Жанна!.. А в будуаре есть вода?... Есть. В каждом. Вода – это наша гордость. И теплая, и горячая, и холодная. Течет даже кипятком – руки обожжешь.

А, вот они. Вот они, убиенные королевы. Мария Стюарт. Танцует, закрыв глаза, и черного бархата платье, расстегнувшись, медленно сползает на пол, а под трауром – ужас ярко-красной исподней рубахи. Ее ведет за руку палач. Он красив, как поэт, любивший ее когда-то. И поэт танцует поодаль, бледный как смерть, и заострившийся от страдания нос торчит, как нож, из рамы черной бородки и изящных усиков. Королева убила мужа ради любовника – королева должна умереть. Сколько преступлений делалось ради любви! Вопреки любви?... Смотрите, у Стюарт на шее метина... шрам... это голова прирастала, чтоб она могла появиться здесь, на балу у мадам Лу... Мария-Антуанетта. Выпяченная нижняя губа выпачкана сливовым соком. Выпученные глаза бредово блестят. Ей снилась ее казнь. Во сне она стояла у края собственной могилы. А где король, Людовик?... Людовик... Людови-ик!.. отзовись... Кудлатый пес выползает из-под стола, заваленного виноградом и омарами, уставленного бутылками шампанского и муската.

О пес, до чего ты умен! Умнее человека!.. Тебя называли человечьим именем...

Рычание. Песий брех на весь зал. Падают два шандала, гаснут свечи. Загорается край шторы. Визг, гам, паника, бег – по валяющимся на полу тканям, по упавшим телам; девки, надрываясь, тащат огромный чан с водой – тушить пожар. Зачем зажгли факелы, сволочи?!.. Мадам приказала. Мадам дура или умная?!.. Ах, это вы, Синьоре. Завтра же я вас рассчитаю. На улицу. Вон. С тремя грошами в кармане.

Тореро и гитана, танцуйте, танцуйте. Еще не ночь; еще не утро. Еще время царения и прославления; и сейчас наступит время любви. Смотрите, все танцующие рядом с вами пары освободились от одежд. Танцуют голые. О, как же это красиво.

– Погасите свечи!.. Гасите огонь!.. Сейчас внесут китайские фонарики...

В кромешной тьме маленькие девушки, родом с острова Тайвань, служившие у мадам в качестве банщиц и мойщиц, внесли на длинных бамбуковых прутах горящие теплым и таин-

ственным оранжево-медовым светом круглые и треугольные китайские фонарики, висающие на тонких шелковых нитях. Фонарики раскачивались, и сполохи ходили по стенам. Они качались, как качаются тела в нежной любви.

Гляди, гитана, все обнажились.

Ну да, что ж тут удивительного, Веселый же Дом.

Ты ничего не понимаешь. Смотри на них.

Перед ее глазами плыли шары и ягоды грудей. Глядящие друг друга руки. Смуглые животы, вклеивающиеся в цветы и щиты иных животов, снежно-белых. Жирные складки и тощие ребра. Она видела, как люди ласкают потайные выступы и впадины друг у друга, не понимая, какая на деле тайна мира, зачем и почему заключена в них, в расщелинах и вздыбленных свечах, исходящих горячим воском, кипящим маслом, в катающихся под влажными пальцами жемчужинах, в косицах умащенных благовониями и живым соком волос и кудрей, запрятанных под тяжелыми складками одежд подальше от глаза и осязания. И можно было видеть и осязать. И люди, как не видевшие друг друга никогда, как жадные, с голодухи, как скупые купцы, скупщики самоцветов, как больные, пьющие последнее живительное питье из старой кружки на больничной койке, стуча зубами, дрожа, покрываясь испариной, видели и осязали, гладили и вдыхали, хватали и проникали друг в друга. Люди на карнавале, обнажившись, прозревали: пелена спадала с их глаз, и не оргии желали они, не простого звериного соития – священного танца, обряда, мистерии, чтобы понять: вот зачем я живу на свете. Любовь и наслаждение. Почему бы их не спутать. Это мучительно – все время разделять их. Люди не умеют наслаждаться; и любить также не умеют, не могут они. Гляди, Мадлен, как танец переходит в любовь. Давай и мы обнимемся. Ты не можешь... при людях?... Это не люди, красавица гитана. Это всего лишь маски, как и мы с тобой. Простим им. И они простят нас. Дай сниму с тебя цыганское платье. Ты осталась в монисто. Оно звенит у тебя на смуглой груди.

Тореро вынул розу зубами из волос Мадлен, вобрал ее всю в рот.

Она приблизила губы к его рту и отняла розу губами.

Так они целовались – через розу; и цветок был их губами, и лепестки розы были их языками, и лепестки цветка осязали и лизали, приникали и ласкали друг друга; и одуряющий запах, священный аромат бил в ноздри.

Наконец граф устал кусать увядший цветок. Он выплюнул розу на пол.

– Пойдем, – кивнул он. – Где твой будуар? Публика будет еще долго качаться туда-сюда. Мадам горазда на всякие ухищрения и развлечения.

– Пойдем, – согласилась Мадлен без кокетства. – А маска тореро тебе идет. Не снимай вышитую золотом рубаху. Я сама с тебя ее сниму.

– Ты хороша нагишом, – сказал граф оценивающе. – Погляди вокруг! Что они творят!

Люди, нагие, масляно блестящие в свете китайских фонарей, соединялись в любви. Музыканты, заказанные мадам, незримые и умелые, заиграли бьющуюся, как бабочка в ночи, музыку. Так бьется сердце в груди, когда ты в любви с любимым первый раз. Любовь. Загадка мира. Все войны – из-за любви. Один выстрел – и начнется новая война. Ибо тот, кто будет стрелять, выстрелит в соперника. И его красавица поймет все и полюбит его, но будет уже поздно. Слишком поздно.

Три девушки подняли на руки стройную, как Венера Книдская, женщину с копной густых черных волос и приблизили ее к возлюбленному; о, входи в меня копьем и лучом, сделай мне больно, убей меня собой. Он насадил ее на вертел. Жарься, дичь. Я не люблю тебя. Я просто жарю тебя. А я, я люблю тебя, возлюбленный. Глубже входи в мое тесто, нож; засаживайся, жестокий палец, втыкай в меня изюм, урюк, курагу, цукаты. Испекусь пирогом, ешь меня; прольюсь вином – испей. А он стоял, как скала, и смеялся, в то время как три девушки насаживали черноволосую на взметнувшийся стержень жизни.

Человек в маске козла повалил на пол фею, со лба феи спадала фата, украшенная живыми незабудками и лилиями; он уселся на нее, как всадник садится на лошадь, и приблизил мужскую свечу к ее кричащему рту. Она билась и вырывалась. Бейся, лошадка. Лошади всегда бьются и вырываются. Необъезженная, девственная лошадка. Не пугайся крови и кнута. Я дам тебе овса. Золотого овса. Золотых монет. Зачем тебе колдовство и волшебство, если я буду отныне и навек твой всадник и царь?!

Двое юношей, один другого краше, крепко обняли девушку с длинной русой косой. Один из юношей поднял ее под мышки, оторвав от пола. Ее ягодицы разошлись, раскрылись под напором рук второго; садись на него, не бойся, он вопьется в тебя навсегда, он будет жить в тебе и качать тебя в колыбели боли, отчаяния, счастья. Да, я люблю его! Да, я люблю его! Да!.. не кричи так громко, я тоже сейчас буду с тобой, ты откроешь мне сдвоенные ладони; видишь, я вхожу в тебя спереди, а он, кого я убью сразу же, как ты забьешься в вопле счастья, – сзади; и так мы будем оба пронзать тебя, попеременно и согласно, и ты станешь терять сознание и возвращать его; и моя рука уже протянута к его горлу; и тут я внезапно понимаю, что и ты, и он – вы оба любите меня; что любовь нельзя разделить, разорвать; что она многолика, многорука и многонога, как Шива; как первобытный дракон; как божество, стоявшее у истоков мира.

– Видишь, Мадлен, это танцы любви, – вышептал ей в ухо тореро, прижимаясь металлической жесткой рубахой к ее голой груди, царапая шитвом соски. – Я никогда не видел таких. Как здесь хорошо. А ты, небось, навидалась.

Он обхватил ее рукой за талию, гладил живот; залез пальцем в пупок. Укусил за шею.

– Нет, – простодушно сказала Мадлен, – я вижу такое в первый раз.

– Каждый что-нибудь и когда-нибудь видит в первый раз.

– Мы идем?...

– Да, мы идем. Вот дверь. Это твоя?...

– Да, моя. Ты сам привел меня в мою комнату. Ты ищайка. У тебя нюх.

– Как прекрасны были эти пары в свете восточных фонариков. Тела из меда... из воска...

они капали золотом... исходили соком...

Они завтра изойдут деньгами. У мадам будет необычайная прибыль.

Она горько усмехнулась.

– Вот мое ложе. Правда, богатое ложе?...

Он внимательно поглядел на диван. Мадлен по-детски погладила обивку ладонью. Бедная девочка. Ей кажется – она попала в Рай. За Рай надо, правда, платить. Собственным телом. А душой не надо?!

– Правда. Правда. Богатое. Роскошное. У царей таких отродясь не бывало.

Она польщенно улыбнулась. Боже, какое она еще дитя. Красота, убивающая насмерть. Зачем она стоит перед ним голая?

Его неистовое желание, разогретое близостью совокупляющихся в полутьме зала тел, внезапно и напрочь пропало. Он видел – перед ним стоит богиня. Колдунья. Сейчас она взмахнет руками над его головой. Выкрикнет: мене, текел, фарес. Что-то вроде. И он покроется седыми волосами. И у него выпадут зубы. Задрожат руки. И он упадет перед ней, властительницей времени и жизни, на колени. И вскричит, и руки к ней протянет: прости, что я тебя не любил! Что пришел к тебе и захотел поять тебя, не любя! Все в мире искуплено и одушевлено любовью! Все в мире любовью освящено и оправдано! И бархатный закут в публичном доме. И старый сарай со штабелями бревен. И изба с печью. И богатый дворец, где под пышным балдахинном никому не слышны слезы и смех великих царей. И мрачная пещера, где любящие Адам и Ева укрывались от дождя, града и ветра, спали, крепко обнявшись, под завыванье бури, будучи изгнанными из Рая.

– Я... – выдохнул граф, молитвенно глядя на Мадлен, – я...

– Ну, что ты, что ты? – ворчливо и обыденно спросила Мадлен. Прикрыла рот ладонью в зевке. – Что зря время терять? Явился сюда, так...

Она почувствовала нечто. Оно висело в воздухе, как терпкий восточный аромат, как дым от горящего сандала. Раскачивалось елочной игрушкой с блестками на клею.

Он опустил перед ней на колени. Она вслепую нашарила у него на спине застежку, расстегнула вызолоченную рубаху, стала стягивать.

– Я не знаю, как тебя зовут. Сказал бы, что ли... тореро.

Ей неловко было сказать голому мужчине: вы, граф Анжуйский.

– Моя кормилица звала меня Куто, – прошептал граф. – Зови и ты так меня.

– Кормилица, поилица, – проворчала Мадлен.

Граф вскочил с колен и рывком притянул Мадлен к себе.

– Ты больше ни на что не способен, как вот так грубо обниматься?

Его поразила властность и сила, с которой были произнесены ею эти слова.

– Прости, если я сделал тебе больно. Если я делаю не так. Ты... необычна. Если б мы были не в доме мадам Лу, я поклялся бы, что это моя собственная брачная ночь.

– Ты женат?...

Они, обнявшись, рухнули на диван.

Кувшин с вином «Сен-Жозеф», стоявший на столике, упал от сотрясения половицы и разбился. Вино растеклось по полу, запахло виноградниками, солнечной верандой, июльским полднем, дешевыми духами на шее и за ушами грациозных ронских крестьянок, спускающихся к реке за водой.

– Так, не попьем вина, когда обуяет жажда, – сказала Мадлен досадливо. – Прикажи заказать и принести сюда, в номер, самого дорогого муската. Я люблю сладкое.

– Я тоже, – пробормотал граф, зарываясь лицом между ее груди. – Сосцы твои... лилии... нимфеи...

– Можешь не говорить красивых слов. Мне они не нужны.

Речь лепилась, холодея и замирая, а тела говорили правду.

А карнавал продолжался; лишь они одни не слышали страстных и долгих стонов, заливающего смеха, резких ругательств, вздохов и восхвалений, визгов и шепотов, доносящихся из переполненного нагими людьми зала. Танцующие, вальсируя, разбрелись по будуарам и спальням, находили укромные уголки под мраморными лестницами, в чуланчиках, на балконах, открытых настежь в теплую, шевелящуюся мириадами звезд летнюю ночь. Люди уворовывали друг друга. Быки похищали Европ. Мускулистые воины – сабинянок. Босуэл, оскалившись, взваливал на круп коня связанную по рукам и ногам нагую Марию Стюарт, а Мария-Антуанетта глядела со слезой во взоре, жалея, что не ее умыкают и изнасилюют не ее. Невидимые оркестранты, став видимыми, из плоти и крови, выбрали и себе подружек. Вон двое спрятались за арфой. Пушистый снег юбок задрался, торчат ноги, как две палки, льется кружевной водопад белья, раздаётся тихий смех, будто руки волшебницы перебирают струны крохотной арфы эльфов; или клювы колибри. Что за веер на полу? Мерцают в полумраке роскошные парчовые перья павлина. А, это гитана потеряла свою забавку. Обмахивала ею потное лицо. Пялилась на тореадора. А он ей дулю показал. Ему другая приглянулась. Кто?... А царица Семирамида. Ему не надо цыганок, беднячек. Ему цариц подавай. Говорят, он граф замаскированный. И царица на него глаз положила. А у нее ноги не волосатые?... Тю, дурак, ты перепутал, это у царицы Савской были голени и лодыжки все в шерсти, как у дикого зверя, и царь Соломон, приняв ее во дворце, выпустил ее в зал, где полы были настелены из прозрачного хрусталя, а под хрусталем копошились черви, гады, змеи, скорпионы. Царица, трусиха, юбки до ушей подобрала. И все ноженьки ее и увидали. Вот тебе и царица!.. Нет, лучше быть гитаной, да красавицей. И свободной.

Лучше свободы нет в мире ничего.

И слаще поцелуя?...

Совместный стон прорезал тьму, поднялся дымом к звездам, глядящим в проем балконной двери.

Мадам Лу бодрствовала. Следила за ходом праздника любви.

Новоселье удавалось на славу.

Завтра весь Пари будет говорить о ней.

А эта... ее сапфировый кабошончик... Мадлен, чужачка?... Она должна ей все выплатить – на ее заработок от ее набитых стенами и вскриками ночей снят этот дом, куплены яства и наряды, приглашены гости. Ничего. Подождет. Она долго ждала. Подождет и сейчас. Кроме того, она, кажется, заарканила графа Анжуйского. Надо с нее глаз не спускать. Водить ее на поводке. Следить за ними обоими. Тут можно сильно пожить.

Голая мадам, с белой карманной собачонкой на позолоченной цепи, самодовольно улыбнулась. Люстры гасли в вышине ночного неба. Мадам никогда не думала о себе плохо. Она слыла самой гениальной бандершей Пари.

Граф повадился к Мадлен каждый день – ни свет, ни заря. Он стоял под балконом, протирая кверху руки, и тихо звал:

– Мадлен!.. Маддалена!.. Маделинетта!.. Прекрасная Мадо!.. Я здесь!..

Мадлен выползала на балкон, заслоняя заспанное лицо ладонями, локтями, спутанными волосами. Ей льстило, что граф далеко внизу, а она наверху, на балконе. И может даже в него плюнуть. Правда, ветер отнесет.

– Что тебе?... еще рано... Птицы только проснулись... Почему не идешь сразу в будуар?

...

– У нас с тобой целый день впереди... и вся ночь!.. Я заплатил за все!.. Мы сегодня идем гулять по укромным закоулкам Пари!.. Где гнездятся чудеса... ты такого никогда не видела... Я покажу тебе прелестные места... ты будешь в восторге...

Она одевалась стремительно. Обливание в тазу холодной водой, горячая ванна с настоем ромашки, растирание насухо мохнатым, колючим, как еж, полотенцем, ломтик ананаса и чашка кофе на ходу, стоя, еще кусочек ветчины в зубы затолкать, пока гребни и щетки перед венецианским зеркалом в ловких руках пляшут и крутятся, пытаясь прилизать ее буйные крутые кудри, – и вперед, вниз, скатиться по лестнице, сползти по перилам, подобно сорванцу-мальчишке, чмокнуть в щечку консьержку, шепнуть всклокоченной, в наспех запахнутом халате, Риффи, маячащей в дверях каморки: пока, детка, бегу развлекаться!.. передай мадам, что все оплачено с лихвой!.. – и в яркий свет и ослепление шумящей улицы, в зелень и смех, туда, к нему, ждущему у балкона уже не в маске карнавала – с настоящим лицом, радостным и открытым, как лист каштана – навстречу Солнцу.

Он подхватывал ее на руки, как если бы она упала с балкона; она повисала всей тяжестью на нем.

– Привет, Куто!

– Как вам спалось нынче, маленькая сигарера?... Не тревожили ваш драгоценный сон летучие мыши?...

– К счастью, нет, ты вывалил в подол мадам столько денег, что мышам пришел каюк... хотя бы на время... на то время, что мы...

– Замолчи, хватит о мышах. Знаешь, куда мы сегодня идем?...

– Угадываю!..

Она никогда не могла угадать. Граф вел ее то на карусель, и она садилась верхом на льва, на жирафа, на волка, на лису, хваталась за уши деревянного тигра, визжала, крутясь вокруг башни с зонтом из разноцветных лоскутов; то в цирк, где они хлопали в ладоши наездникам,

стоящим на носочках, подняв дрожащие руки, на скачущих лошадях в белых плюмажах; ах, это лошади-гусары, это оборотни, взмахни волшебной палочкой, и медведи превратятся в генералов, а тюлени – в глупых клерков; ты ведь так любишь, Мадлен, воздушных гимнастов – они кувыркаются под темно-красным, цвета крови, куполом, прыгая сквозь кольца, без лонжи, а если упадут, а если разобьются, но ведь и ты кувыркаешься без лонжи, дикая Мадлен; гляди – вот тигры прыгают сквозь горящие обручи... а слоны стоят на задних лапах!.. ха-ха-ха!.. как их обхитрили!.. как надули их, Куто, ты только погляди!.. а кабанов дрессируют?... да, и кабанов дрессируют... и кита можно научить играть на фортепьяно... и весь цирк гудел и вопил от восторга, когда на арену выбегала желтоволосая дрессировщица, шелкала кнутом, и все звери вставали перед ней на задние лапы; то вел граф свою Мадлен на качели и чертово колесо в парк Монсо, и они ели, укачавшись на длинных лодках качелей, жмурясь от мелькания пестроты ветвей и звездчато-солнечных бликов, жареных морских звезд и свежих устриц, обильно сбрызнутых соком грейпфрута, запивая великолепие лета и моря дешевым красным божоле; то тащил ее на пляж, и они раздевались, сбрасывая тоскливые проклятые людские одежды, под тентом в виде гриба-мухомора, бежали к одуряюще слепящей, вспыхивающей на Солнце радугой зеленой воде и шумно, подняв тучу брызг, рушились в нее и плыли, плыли, переплывали на другой берег и сразу обратно, и ничем, ни бегом, ни плаваньем, ни загораньем, калением себя на жаровне чистого кварцевого песка, под лучами палящего светила, не могли заглушить древний властный шум тока крови, бормочущей в глубине их жил лишь одно: Я ХОЧУ ТЕБЯ. Я ЖЕЛАЮ ТЕБЯ. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ.

Так однажды, таскаясь по Пари, они попали на бал в Мулен де ля Галетт. Деревенский бал! Простушки, одетые шоколадницами и феечками! Парни в смешных костюмах петухов и индюков! Аристократки здесь тоже были. Они скрывали личики под вуалями. Бал в Мулен де ля Галетт был балом фабричных работниц, крестьянок из предместий, уличных кокоток, бедных девочек, украдкой убежавших из дому в материнских туфлях и с бабкиными бусами на тощих шейках. Вечер зажигал огни; в купах деревьев моргали розовые, оранжевые, малиновые фонари; разносчики пирожков кричали пронзительно: а у меня с черникой!.. А у меня с клубникой!.. А у меня с вареным сгущенным молоком!.. Покупайте, господа, танцы будут долго, проголодаетесь!.. Продавщицы соков, воды с пузырьками газа и столового вина хохотали, разливая питье в бумажные и берестяные стаканы. Мадлен, давай принесем с собой сюда хрустальные рюмки?... Будем пить арманьяк из хрусталя. А потом подарим рюмку самой красивой гризетке. Как на празднике вина. А как бывает на празднике вина?... О, мы с тобой еще там окажемся!.. Это настоящая Эроп. Ты ее еще не видала. Три дня гудит и пляшет праздник; собираются лучшие виноделы, почетнейшие художники вина – с виноградников Дофинэ, Прованса, Арля, Нима, Лангедока, Гаскони, Роны, Луары. Каждый предлагает попробовать свой товар, прежде чем его купят. Все ходят среди лотков, уставленных бутылками, бутылочками и бутылочками... и пробуют, пробуют! Плещется и льется напиток Солнца, то розовый, то зеленый, то золотой, то черный, и кислый и сладкий, и терпкий и нежный, и крепкий, как... Как любовь?... О... дай твои губы...

Он закрывал ей губы губами и пил их, как вино.

На маленькой дощатой сцене сидели три аккордеониста, флейтист, гитарист и маленький мальчик, брямкавший по струнам мандолины. Они играли не в склад, не в лад. Музыка разьежалась, как старое пальто по швам. Мадлен засмеялась.

– Кто в лес, кто по дрова!..

– Позвольте пригласить вас, сударыня?...

Парень в шляпке с небрежно воткнутом гусиным пером протянул ей крепкую мозолистую руку. Мадлен приняла приглашение. Граф весело следил, как она плясала, встряхивая желтой гривой, болтая с деревенским танцором, притворно закатывая глаза, отмахиваясь голо-

вой от смешных вопросов и приторных, как прошлогодний мед, комплиментов. Мадлен распарилась в танце. Подбежала к графу.

– Дай мне платок и веер! Мой павлиний веер!..

Граф, насмешливо улыбаясь, вытащил из одного кармана платок с вышитым на нем гладию именем: «MADELAINE», из другого – сложенный веер из павлиньих перьев.

– Ты растеряха. Я подобрал его тогда... утром... когда уходил от тебя в первый раз. Он валялся на полу в зале. Что там только тогда еще ни валялось.

– Представляю, – скривилась она.

Обмахивая разгоряченные щеки, она отошла к широкому, в три обхвата, платану, прислонилась в дереву спиной. Граф не отрывал от нее сияющих глаз.

– До чего ты хороша, Мадлен.

– Бреешь.

– Грубиянка. Я и не думал, что на земле бывает такая красота.

– Ты влюблен в меня?

Ее глаза лучились бесконечным смехом. Она желала слышать это еще раз; и еще раз; и еще раз.

– Я влюблен в тебя, Мадлен.

– В девку мадам Лу?...

– Не смей о себе так говорить.

– Почему я должна что-либо с тобой не сметь. Ты же мне разрешаешь все.

Он представил ее в объятиях; она выделяла то, что не под силу ни одной смертной. Она знала ужас мистерий. Она ведала тишину молитвы и сакрала. Он преклонялся перед ее Искусством Любви. Этому нельзя научиться, это не опыт; не грязные разнузданные ночи у мадам. Это иное. То, в чем она сама не отдает себе никакого отчета.

– Да. Я разрешаю тебе все.

– Разрешит тогда, чтоб художник написал мой портрет. Вон он. Под тем каштаном. Сидит на лавке. Рисует танцующие пары. Эй, художник!.. Сюда, сюда!..

Маленький горбатый человечек в надвинутой на глаза шляпе поднял от холста, вымазанного красками, угрюмое лицо. Челюсть выдвинута вперед. Глаза дико горят в подлобье. Горб торчит вызывающе. Каждый несет свой горб. Каждый несет свой Крест. Как мешок с картошкой на спине. Как мешок с отрубями. С камнями, с голышами. И постепенно мешок превращается в горб. Сбросить его нельзя. Граф, я стану для тебя когда-то таким мешком?! Вросшим в хребет горбом?!

Не дай Бог до этого дожить.

У нас не будет горбов. Мы избегнем их. Мы не верблюды.

Мы не верблюды, мы не слоны!.. Мы маленькие лисята на балу!.. У нас шейки в бантиках. В рюшечках. Господин живописец, нарисуйте меня такой, какая я есть!.. Ничего не придумывайте!..

Горбун аккуратно сложил кисти на угол большой, изгвазданной кучками красок палитры, кряхтя, приподнял зад от скамьи, подошел к красивой, богато одетой паре. Это заказ; они богачи; не надо упускать. Сегодня ты поживишься еще, парень. Ты сделаешь не только свои наброски, но и выдобишь монеты из этих хлыщей. Девка отличная. Писать с нее обнаженку – лучшая участь. Такой природы он не видал даже в Алжире, а алжирки – роскошные павы, гораздо великолепнее, чем девушки Эроп. А еще лучше островитянки. Мальдивки... Он плавал на Мальдивы на корабле. Писал там, как пьяный, как бешеный. Много холстов сгорело при пожаре корабля, на котором он возвращался. Матросы вопили, выбрасывались в горящих одеждах за борт. Он обмотался холстами, какими смог, и тоже сиганул в ледяную воду. Берег был близко, рифы. Он хороший пловец. Его спас Бог. Его выбросило там, где не было острых скал, и он не пропорол себе грудь.

Эта девушка пропарывает его грудь взглядом. Туго приходится ее парню. Хоть он и богач. Такую ревновать – все равно что каждое утро надевать грязную рубашку: все равно испачкается, лучше не стирать.

– Что угодно, госпожа?

– Я не госпожа! – Хохот Мадлен повис нитью колокольчиков между украшенными цветными фонарями платанов. – Я ночная бабочка. А это мой сутенер. Он заставляет меня ловить живой товар. Я устала. Хочу развлечься. Напишите меня быстро! Моментально! Мой сутенер заплатит вам от души. Все деньги, что я заработала ему сегодня!

Ее глаза, блестя, сыпля синими искрами, смеялись не переставая.

– Мадлен, ты озорница. Господин художник, не обижайтесь. Она у меня такая. Ненормальная. Я лечу ее в клинике Тарар. Иногда на нее находит просветление. А так она у меня тронутая. Не в себе. Вот я и думаю: вдруг помрет? А портрета на память у меня и не останется. Позируй, Мадлен, дура!.. Художник согласился. Он напишет твою морду. Ох я и поплачу над этюдом, когда ты...

Мадлен ударила графа веером по руке.

Художник безмолвно, жестом пригласил ее сесть под платан. Ярко-розовый фонарь искося освещал ее прелестное широкоскулое лицо, иззолота-смуглое, загоревшее на пляжах Зеленоглазой. Золотые кольца волос падали на щеку. Она отодвигала их пальцем – они лезли в глаза, мешали целовать глазами яркий мир. Ее яркий чувственный рот, намазанный вызывающей, бульварной турмалиновой помадой, слегка приоткрылся в изумлении – она следила, как быстро бегала по туго натянутому холсту кисть живописца, как кусал он губы и счищал мастихином поганый мазок, как сверкала под его выщипанными временем усами беззубая улыбка, если ему удавалось то, что он хотел.

– Так быстро? – глупо спросила она, когда горбун вскочил, сорвал с мольберта холст и показал заказчикам.

Граф остолбенел.

Это была не просто Мадлен. Не просто живая Мадлен, похожая Мадлен, нарисованная Мадлен; это была та Мадлен, какой она сама будет когда-то; это была другая Мадлен, это была царица Мадлен, вступающая в зал своего царствования на свою коронацию торжественно и свято; это была любящая Мадлен, и любящая не его, а другого – того, кого она будет любить однажды в жизни и за гробом; это была мертвая Мадлен – с лицом, задранном к звездам, лежащая на снегу в зимнем парке; художник, идиот, намалевал зиму и снег вокруг лица Мадлен – фоном, вместо зеленых шуршащих под теплым ветром листьев и колышущихся соцветий флоксов и георгинов.

Бред. Чепуха. На груди нарисованной Мадлен, нагой, с торчащими дерзко сосками, сволочь художник изобразил две раны. Одно, другое – кровавые пятна расплзались, алые потоки стекали на кружево нижней юбки, терялись в фоне зимней колючей ночи.

– Ты что, спятил? – пересохшими губами шевельнул граф. Он готов был ударить художника. – Ты думаешь, тебе заплатят за эту мазню?...

Мадлен, расширив глаза, глядела на маленький холст. Протянула художнику руку.

Тот взял ее в свою, перепачканную краской. Не поцеловал. Пожал крепко, как мужик пожимает руку собрату-мужику, одолевшему тяжелое дело.

– Деньги-то у меня, – подмигнула Мадлен живописцу. – Он думает, что купил меня навек. Я что хочу, то и делаю. Мне нравится твоя работа, мастер. Вот, возьми.

Она порылась в сумочке, висящей на цепочке у пояса, и сунула художнику купюру.

– Ты знаешь, где тут можно продолжить веселье?

– Знаю, мадмуазель. В Красной Мельнице. Там варьете. Канкан. Вы бывали на канкане?

– Никогда.

– Хм. Странно. А я бы подумал, что вы не только бывали в Мельнице, но и танцевали там канкан. Мне ваше лицо сильно знакомо.

Милый горбун. Бедный горбун. Как пронзительно он смотрит на меня. Он художник. Он и должен так смотреть. Он раздевает меня взглядом. А граф? Что граф? Берегись, матадор, когда играет бык. Он играет в один рог, затем в другой. Трубит зорю. Отбой. Спать, офицеры! Сегодня мы идем плясать канкан.

– Откуда ты все знаешь, горбун?...

– Я живу в публичном доме.

Мадлен расхохоталась.

– Тогда тебя надо переселить к...

Осеклась под бешеным взглядом графа.

Горбатый художник быстро, резко сложил в котомку палитру со счищенными и сброшенными на землю красками, кисти, мастихин, переносной мольберт. Вскинул котомку за спину. Калика перехожий. Откуда она знает эти чужие, древние слова?... Калика... калека... они идут по дорогам, слепые, играют на лирах и гудят в дудки... поют заунывные песни...

– Я живу у шлюх, они меня кормят. Я аристократ. Мы обеднели. Разорились вчистую. Мать покончила жизнь самоубийством. Я родился видите какой. Отец погиб на войне в Алжире. У меня в Алжире есть брат. От последней жены отца, алжирки. У него совсем темная, шоколадная кожа. Я его писал маслом, когда был на похоронах отца. Мы ездили в Ливию. Карфаген... он всегда должен быть разрушен. А у шлюх тепло. И сытно. Они топят камин – будь здоров! Мне нравится, что они всегда голые. Я пишу их без перерыва. И голых, и одетых. Какие тела!.. И в телах есть души. Вы не сомневаетесь, что в телах есть души?... Я долго сомневался. Потом понял: есть.

Мадлен глядела на художника во все глаза.

Он глядел на нее.

Вот натура так натура. Интересно ее раздеть. Даст ли ее ему для позирования этот хмырь, кого она усердно именуется сутенером? На ловца проститутки он мало похож. Какие холеные пальцы. Он, наследственный аристократ, потомок герцогов Гизов, заканчивающий свою жизнь на задворках великого Пари, знает цену этим выхоленным пальцам, этим лошеным, выбритым фирменными лезвиями щекам и скулам, этим рубахам с именными вензелями, этим платочкам, казалось бы, наивно высовывающимся из отглаженных карманов вместе с цепями брелочков. Граф. Или герцог. Или барон. Или, на худой конец, очень богатый рантье.

– Я предлагаю вам поспешить, – сказал горбун сухо и зашагал вглубь парка. – Варьете сейчас начнется.

– Мой сутенер, за мной! – хулигански крикнула Мадлен и схватила графа за руку. – Я еще не видела канкан. Что такое канкан? Может, это когда танцуют с куском пирога во рту? ... Или с попугаем на плече?...

– С павлиньим пером в заднице, – зло бросил граф, резкими широкими шагами направляясь за ней.

Они почти бежали. Успели. Красная Мельница, ресторанчик с дешевым ночным варьете, была полна народу. Народу было как сельдей в бочке. Горбун, Мадлен и граф протолкались поближе к проходу. Сесть было негде.

– Так и будем стоять? – прошипел граф, озираясь затравленно, как собачонка. Пахло вонючим потом, сладкой жвачкой изо ртов, дурацкими в нос шибящими духами, коими обильно были политы груди, плечи и виски женщин; чужие полуголые тела толкали его; острые локти впивались в ребра, как копыя. Куда она привела его? Плебейка. Ей это нравится. Будь проклят художник с его мазней. Он уйдет отсюда. Он уведет ее.

– Эй! Пойдем! Тебе пора спать.

Он нехорошо усмехнулся.

– Я никуда не пойду. Я буду глядеть канкан.

– Ты отправишься домой сейчас же! Я приказываю тебе!

Мадлен распахнула синие глаза и медленно повернула голову к графу. Он попятился, зажатый со всех сторон телами – так горяча была синяя лава презрения и гнева, выплеснутая на него из взгляда его девки.

– Ты не можешь мне приказывать. Хочу, и все.

– Я купил тебя! – завизжал он на весь зал.

На него оглядывались. Зашикали. Смеялись, показывая пальцем. Вырваться и убежать он не мог – толпа, жаждущая поглядеть канкан, напирала и кучковалась. Мадлен обернулась к маленькому художнику и обняла его за горб, нюхая запах масляной краски и лака, доносившийся из котомки.

– Сутенер-то у меня придурочный, – беззлобно бросила она, искоса, кокетливо взглядывая на графа. – Меня по больницам затаскал, а на самом деле сам втихаря пилюли жрет. Успокоительные. Чтобы не беситься. А я-то его люблю. Знаешь, как люблю?... Так люблю, что иногда даже просто подумаю о нем – и...

В толпе засмеялись. Толпа Пари любила острословов, не боящихся крепкого соленого словца. Мадлен была здесь своя. Ее окидывали оценивающими взглядами. Одобрительно прицокивали языком. Парни поднимали большие пальцы и показывали ей. Густо намалеванные девки кричали: «Давай!.. Давай!.. Наддай ему!.. Не сдавайся!.. Забодай его!..»

Горбун обхватил, смущаясь и дрожа, Мадлен за талию. Они стояли, как мать с ребенком. Молодая мать со старым ребенком.

– У тебя горячая рука, художник, – прошептала Мадлен.

Рука, получившая одобрение, скользнула ниже. Еще ниже.

Масляные краски, горячие потеки. Свежий, чистый молодой холст. Улыбка на устах. Была бы только улыбка на устах, все остальное приложится. Скользи ниже, кисть. Ласкай крупнозернистую грунтованную плоть. У каждой плоти есть душа. Ее изобразит только мастер. Не робей, мастер. Я разрешаю тебе. Я приказываю тебе.

На дощатую, грубо сколоченную из неотшлифованных рубанком деревяшек сцену выкатились девки. Много девок. Со сцены резким ударом донесся до носов толпы, пробив духоту, запах танцорского трудового пота. Девки были наряжены в юбки со множеством оборок. Оборки, снега оборок, мохнатые шмели оборок, тучи и цветы оборок, вихри тряпок и кружев, поднимающиеся к люстрам, еле моргающим сквозь пыль!

Девки построились в неровное каре; грянула музыка. Простая и неуклюжая. Под такую мог плясать медведь. Медведь на ее далекой родине... на снегу... на площади...

Прямолинейная, ударяющая, как палка или розга, дурацкая музыка взвизгивала, как баба, которую щекочут. Там-там-тара-тара-там, там. Девки двинулись на публику, задирая ноги. Выше. Выше. Ах, бедра, диковинные бедра! Белые, как вареные форели! Розовые, как разрезанная на длинные пласты семга! У вас в ресторанишке есть семга?... О да, сделайте заказ, прошу вас. Выше ноги!.. Выше!.. Оборки разлетаются. Нет, это рвутся надвое шелковые ткани королей. Как там, в королевской спальне?... А так же, как и в плотницкой. Баба она и везде баба. И все едино. Нет различий. Нет границ. Там, тара-тара-там, там. Там... мокро, влажно, темно. Пряно. Выше подними ногу, чтоб я увидел!.. А ты все равно слепой. Ты не увидишь. И ногу я опускаю мгновенно. Только миг перед тобой оно. Что?! А тебе не все ль равно. Мы кобылицы. Мы скачем. Мы вспотели, как лошади. Нас загонят все едино; вот хлысты, ими машут, звенят о дощатый пол; заводят музыку по кругу, и мы скачем. Слизни-ка соль, красотка, с усатой вздернутой губы!.. Почему никто не швыряет тебе денег из толпы?!.. А потому, что все жадные. Потому что все графья, князья. Сощурясь, наблюдают. Толкают в пасть ананас, банан. Мою грудь. Твою грудь, дура?!.. У меня красивее!.. Возьми мою!.. Там, тара-тара-там, там!.. Танцуй, танцуй, Козетта!.. А ты чего, Ирэн?!.. А ты что там зазевалась, Лизетт?!.. Выше

ногу!.. Выше!.. Тяни!.. Тяни!.. Чтоб они увидели, как там у тебя темно и страшно, как соблазнительно и чудно; как в Раю и в Аду вместе. А скулы твои уже как малина!.. Как клубникой вымазаны!.. И лоб твой в бисере!.. Изукрашен алмазами и жемчугами!.. И никаких богатств мира тебе, беднячка Мари, не надо!.. Это твоя пляска!.. Твой канкан!.. Твои братья погибли на войне; твой отец взорвался в забое; на дом твой матери упал аэроплан, и она сгорела заживо в мучениях, а ты перестала сразу верить в Бога, потому что Бог отказался танцевать канкан вместе с тобой. Это ничего не значит, дура. Он может станцевать канкан вместе с другими. С теми, кого он, Бог, выберет сам. Он знойный кавалер.

Чулки рвутся с хрустом. Панталоны зияют дырами. Кружева сползают. А что там, под кружевами?!.. Зрачки обволакивает тьма. Веселое искусство у нас, девки!.. Веселая наша страна, Эроп!.. В Веселом Доме мы все живем, и крепко сколочены его стены, и гудит от танцев пол и потолок, и пускаются с нами в пляс старые солдаты и молодые воры, а вон тот плясать не может, ему ногу прострелило давно, она укоротилась ровно вдвое, отрезали в госпитале, – он видел другие пляски, и он корчился и дергался под летящими осколками между взрывов. Он видел Танец. А мы что. Мы танцорочки. Мы хотели любить его. Но, наверно, ему отрезали и кое-что другое.

Веселые девки, ну, вы мокры уже до тайников; сколько вы еще сможете выдержать?!.. Каре, стройся! Шагом марш!.. Взад, вперед! По сцене! Без сцены! Буянят оборки! Летят красные снега! Машут крыльями синие птицы! Птица, в тебя выстрелят – и нет тебя. Лишь шкурка. Перья. Чучело, набитое ватой. Танцуйте до плахи! До топора! До выстрела! А музыка будет играть. И вы не остановитесь. Вы будете плясать до тех пор, пока не упадете.

Упала!.. Розы упала!..

Ах, сука. Ну, будет ей. Жалованья мадам не даст.

Унесите ее! Танцуйте дальше! Там, тара-тара-там, там! Целованы по пьяни, в исподнем – из приютов, больниц, из подворотен, из хижин, из-под мостов, танцуйте, Каро, Мюзетт, Шарлотта, в чаду и дыму, в оскалах кабаньих морд, в блеске клыков! У попугаев ара не пестрей наряды, чем у вас юбки с тысячью оборок. Оттанцевать – до жара и бреда... и закрыть глаза... и умереть...

Умереть тебе не дадут. Умереть – слишком большая роскошь.

Горбун, зачем ты гладишь рукой тайный атлас моего платья. Зачем твоя рука волнуется. Я привыкла; меня на пушку не возьмешь. Рядом граф. Он дышит за спиной. Я должна тебя оттолкнуть. Зачем так визжит девчонка на сцене, взбрасывая ноги в безумном канкане?!

Мадлен стояла, зажатая колышавшейся маятником толпой, ее обдавали запахом мятных пряников, курева, нюхательного табака, дешевых духов, вина, водки, помады, острого, как перец, пота. Она глядела на девицу, выбрасывавшую ноги впереди канканирующего каре. Девица была не из красивых. Скорее уродлива: толстый кривой нос, большой утиный рот. С залысынами, с бородавкой над верхней усатой губой. Дылда. С таким ростом надо играть в модный большой теннис. Прыгать с вышки в воду. Сниматься в синема в мужских ролях. Идти в армию. Говорят... она где-то читала... один из Царей страны Рус был такого же роста... когда он входил в избу, то нагибался, будто искал гриб или ягоду... кланялся притолоке... матице... что за дикие слова – матица, притолока... откуда они...

– Э-э-э-эй! – заорала со сцены танцующая дылда. – Ты! Синеглазка! Сюда! К нам!

Ворох цветов сыпался на доски сцены. Жизнь была цветком, и его растеребили. Оборвали по лепестку. А трубы! А скрипки! Нету с ними сладу! Рвут табачный воздух! Режут ножами духоту! Накалывают на вертел смех, слезы! Танцуйте, девки, до упаду! Авось пройдут они – эти годы, эти гудки на работу, эти фабричные ранние смены, эти левые и правые фланги, эти каре, эти: шагом марш! Смирно!.. Равняйся!.. – а битва впереди, а мы все молимся, чтоб ее не было никогда, а она будет все равно, будет! Великое сражение! И люди будут сперва брать под козырек, а потом рвать ворот военной гимнастерки, ловить губами небо, вцепляться

зубами в нить пуговицы, в удавку, в последнюю, предсмертную еду, – авось они прейдут, народы, построившиеся в шеренги и армады, ведомые на заклятие, как скоты, – каждый век такой, и прошлый был не слаще, и грядущий будет не легче, – дрожит твоя рука, человек! Ты народ, и ты пляши! Ты так и пройдешь по миру в пляске! Под выстрелами, под картечью! Под пулями и взрывами! Задирая ноги, облитые кровью! Задыхаясь от газовых атак! Корчась в судорогах! И там... в будущем... там будут все сыты и пьяны! Всяк! Каждый! И псы! И кошки! И голуби! И люди! Танцуйте, девки-длинноножки, для них грубый, неприличный, нахальный канкан! Погибнем в роскошестве! Умрем в пиршестве! А спину выгнем! И отхлебнем рому! И вольем в пасть коньяку! И выбежим! И спляшем – в последний раз – выше ноги, выше! – там! Там! Тара-тара! Там! там!.. – в невыносимой жаре – в лютом холоде – во вьюге площадей – в дождях, закрывающих вдовьим платком небо и Солнце – в наотмашь бьющих в глаза солнечных лучах – среди каменных стен и высоких башен – среди родных простых людей – среди царей и знати – плевали мы на них! – не зажимая нос от вони – не отворачивая лица от грязи – видя ложь насквозь – плача над красотой – и спереди, и сзади все в цветах, лентах, оборках, рюшах, кружевах, плюмажах – несчастные шлюхи – великие княгини – королевны древнего рода – уличные торговки с двумя похабными словами в гнилых зубах – неутомимые танцорки – что в постели, что на панели – на мокрых от дождя камнях – на заgrabной мостовой – на цирковых опилках – Мюзетта, Жанетта, Лизон, Надин, Вивьен, Жоржетта – а была еще Машка из земли Рус, да сплыла – болезнь подцепила – спляшем, дрожа от холода и бесповоротности – при полном параде: с улыбкой на устах, только с улыбкой на устах. Какая у тебя улыбка на устах, ты, синеглазенькая из толпы! Ты наша. Мы тебя сразу узнали. К нам!

Мадлен вздрогнула, как от удара бичом. Поняла. Заработала локтями. Проталкивалась. Ближе к сцене. Ближе. Они позвали ее танцевать! Они признали ее!

Это ее канкан. Она покажет сейчас им всем, где раки зимуют.

Граф заорал:

– Дура! Сумасшедшая! Куда! Назад!

Художник стоял, дрожа, и прижимал к губам свою руку, миг назад прикасавшуюся к Мадлен. К ткани ее платья. К ее телу.

Граф ненавидящим взглядом поглядел на него.

– Убирайтесь, – выговорил он. – Исчезните.

– Не собираюсь, – сказал горбатый человечек, пристально глядя на графа. – Я собираюсь познакомить вашу даму с моими подругами. Они забавные. Ей с ними будет весело. Кроме того, я хочу писать вашу подругу в обнаженном виде.

Граф толкнул горбуна кулаком в грудь.

– Пошел вон. Я видел, как ты гладил ее по животу. Этот живот не твой. Он принадлежит мне.

– Он мой, – твердо сказал человечек. – Вы дурак. Я художник. Мне принадлежит все, что я вижу и люблю. Моему глазу. Моей кисти.

– Твоему...

– Ну да. Ведь я мужик, сударь. А мужику все принадлежит. Он стремится всем завладеть. И вы не бойтесь меня. И никого другого. Чем больше вы боитесь, тем быстрее она от вас уйдет.

– Это я брошу ее, как спичку... когда пожелаю.

– Детская игра. Вы никогда не переиграете стихию. Ваша... – он осекся, помолчал... – буря, вихрь. Она непредсказуема. Она ни в чьей власти. Вон она, глядите! Пока мы с вами делим ее шкуру, она...

Она танцевала. Девки втянули ее в середину канканирующей кучи, и она старательно вздергивала ногами. Платье на ней было короткое, на фоне пышных пионов и астр она гляделась бедным васильком. Девки кричали: класс! Высший класс!.. Давай!.. наддай!.. Она наддавала. Щеки ее запылали. Это было как в любви. Лучше. Горячее. Кто научил тебя так бешено

плясать?!.. Павлин. Меня научил плясать павлин. Я выдергивала у него из хвоста перья, а он клевал меня в задницу. И вдруг выстреливал всем радужным хвостом сразу. В меня. Я падала навзничь. Павлин наступал лапой мне на грудь. Я раздвигала ноги. Глядела на радугу рыжего, синего, золотого, снежного, малиново горящего, бьющегося, пылающего. Грудка павлина блестя иззелена-золотым. Он был Царь. Я была Царица. Он оплодотворял меня. Я стонала. Мне было больно и сладко. С Царями так всегда. У него торчала на синей головке корона. Маленькая золотая корона, на каждом зубце – золотая горошина. Он, чтобы я не видела, как изливается семя, закрывал мне глаза крылом. Но и во сне я зрела перед собою радугу. В крошечной черноте.

И, когда я содрогалась в неистовстве отомщенной любви, он ронял мне на память синезолотое, цвета неба и пшеничного поля, перо из хвоста.

Девки попадали на пол, задрыгали ногами в ворохах разлетевшихся юбок. Музыка оборвалась. Публика засвистела, заулюлюкала. Мужики закурили, заорали: «Браво! Бис! Свободы!.. Стервы!.. Как пляшут!.. Как чертовки в Аду на сковороде!.. А эта!.. Новенькая!.. С головой как подсолнух!.. Вот это коленца отмачивала, ну, старик, меня огненный пот прошиб!.. Клянусь, я проберусь сейчас за кулисы, даю за нее... сколько ты дашь, дурень?!.. у тебя дети дома сидят на лавке некормленные... Браво!.. Би-и-и-и-ис!.. Еще канкан!.. Снова канкан!.. Канкан-кан-кан!..»

«Кан-кан, кан-кан», – звенело у Мадлен в горячей голове.

Она задохнулась. Не могла отдышаться. Перевела дух.

Занавес из тощей мешковины задернулся, и девки обступили новую танцовку, нагло выбежавшую на сцену из тьмы зрительного зала.

– Кто ты такая?... Нашенская?... У кого в Доме?... У тетки Лу?... Здорово... А мы вот тут... А лет тебе?... А сколько ты за ночь... А плясать у кого училась и за какую плату?... Ни у кого?!.. Врать-то... Ты искусница... А в постели ты тоже такая?... А волосы у тебя крашенные или некрашенные?... а завиваешь на горячие спицы... на щипцы?... Сами выются?!..

Вопросы девок жужжали около ее головы назойливыми пчелами. Дылда подошла и ткнула ее локтем в бок.

– Блеск, – только и сказала.

И обняла, и чмокнула громко и слюняво в румяную мокрую щеку.

Пот катил с Мадлен в три ручья.

– Ты тут одна?... С хахалем?...

– С графом, – потупилась Мадлен.

Девки заржали как кобылы:

– С графом!.. У, ох-хохо!.. Высшее общество!.. Как это вы удосужились в гости к нам, прачкам... У нас ручонки немытые!.. Ножонки в деревянных тапках!.. Мы в лимузинах не ездим!.. У нас простой канкан!..

– Берем тебя к нам, – сказала дылда строго. – Пойдешь? Брось свою старую толстую Лу. Она тебя обчищает, как липку. И ты молчишь. Пашешь на нее, как корова, да?... А графьями не проживешь. Они так. Сегодня один, завтра...

– Не пойду, – сказала Мадлен и вытерла ладонью пот со лба. – У меня есть своя жизнь.

– Своя, ха! – хохотнула дылда. – Рассказывай сказки! Нам ничего не принадлежит. Ни еда. Ни питье. Ни жилье. Ни дети. Ни деньги. Ни крест на кладбище. Креста мы уже не видим, поэтому он нам не принадлежит. Ни мужчины. Мужчины – гиль. Бред. Пригрезился и канул. А ты осталась. Это твоя жизнь принадлежит.

– Богу?

Дылда закинула голову и начала хохотать. Она хохотала долго, и девки заразились хохотом, сперва одна прихихотнула, за ней другая, третья, и вот уже весь кордебалет хохотал, при-

седая, показывая пальцами на Мадлен, вытирая слезы, выступившие на глазах от смеха, корчась и колыхаясь всеми оборками пропотевших юбок.

– Ну да, Богу!.. Ну да, Богу!.. Крестик, небось, носишь!.. Деву Марию поминаешь!.. Заступиться просишь!.. А сама... ночами... только успеваешь считать... да к тазу бегать с кувшином... ох, не могу!.. Богу!..

Она озиралась. Они смеются над ней. Они умнее ее. Мудрее. Жесточе. Хотя и она не промах. Где граф? Где горбун?

Она ринулась к рампе, выдвинув локти вперед, уронив маленькую танцорку, стоявшую ближе к краю сцены, и девушка упала в оркестровую яму; визг, хохот, ее поймали скрипачи, она сломала чей-то смычок, ругань, крики, невнятные звуки настройки – декорации менялись, сейчас на сцену должны были выйти стриптизерки вместе с живыми слонами. Слонов привезли в клетках и кормили травой и бананами перед выходом. Билеты на ночное варьете в Красную Мельницу стоили дешево, а показывали здесь такое, что и во сне не приснится.

– Куто! Куто!

Она увидела его. Граф, толкаясь, выбирался вон из зала. Он ненавидел канкан. Он ненавидел Мадлен.

Где горбатый художник?... Этот плюгавый маэстро... Какой сильный, уверенный мазок... Он корежит линию. Он продавливая черенком кисти холст. Он груб. Может быть, велик. Он не боится сломать и воссоздать. Он невоспитан. Черт бы побрал воспитанного графа. Как важно быть в жизни наглым и крылатым. Вот он! Я вижу его! Он совал руку между моих ног. И мне не было стыдно. Он рисовал мои ноги изнутри рукой. Он запоминал их. Он сделал их. Они другие. Я хожу ими и танцую уже по-другому.

Горбун тоже увидел ее. Он протолкался к сцене, ударяя всех ножками мольберта, торчащего из котомки.

– Эй, как вас... Мадлен! Прыгайте ко мне на руки! На улицу! Скорее! Я вас вынесу! Вы задохнетесь! Ваш кавалер убежал!

Он, маленький, кривоногий, уродливый, протянул руки. Глубоко запавшие его глаза горели, как два безумных факела. Факелы говорили ей: ты прекрасна, и мы сейчас уйдем вдвоем, и я спрячу тебя, и я напишу тебя, и ты останешься жить на холсте, и это будет еще одна ночь в веренице твоих ночей, шлюха Мадлен, и это будет твоя лучшая ночь.

Она сиганула со сцены вниз. Горбун подхватил ее и пошатнулся.

– Ромео поймал Джульетту!.. Джульетту поймал!.. – закричали девки варьете. – Горбатый Ромео поймал золотую козочку!.. Не упусти!..

– Бежим, – сказал художник жестко и сжал руку Мадлен. – Наплюй на своего кавалера. Ему не судьба сегодня тебя найти.

Мансарда. Ночь. Мама, я забыла снег. Я забыла тебя. Мне снится сон? Не думаю. Я же говорю с тобой. И ты слышишь меня. У горбуна красивые говорящие руки. Пальцы его мнут и растирают краску. У человека внутри много краски, ты знаешь, мама. Сердце его тоже можно выдавить на палитру и растереть. Он понял, что я не отсюда. Вот закуривает. Он голый и уродливый. У него прекрасное лицо. Он берет меня голыми руками и переносит на холст. Меня?! Он все понял. Спрашивает: давно на чужбине? А что мне отвечать? И что такое давно? Я плююсь на него, молчу. А откуда? Из Рус? Опять молчу. Холодно без простыни. Он кричит: лежи! Бешено двигает кистями. Кисти в его руках – кости скелета. Скелетом, смертью нашей пишется наша жизнь. Всеми смертями, что были и будут.

О мама, он мне не любовник. Что он делает со мной? Он кистью, на холсте, проникает мне в чрево. И я раскрываюсь подобьем цветка. Мой живот – белый георгин. Мои груди – лилии. Нарисуй мне между грудей богатое жемчужное ожерелье, художник! Мажь, малюй, черкай.

Уродец рождает красоту. Он рождает меня. Он заставляет меня выбалтывать то, что я и в снах держала за зубами. Он подходит ко мне и вонзает в меня копьё Сеннахирима.

И я, цепляя ногтями драный бедняцкий диванишко, кричу, выкрикиваю сокровенное.

Мама. Ты передо мной. Я на чужбине вспомнила тебя. Он велел мне тебя вспомнить. Спрашивает, ведя кистью пальца по моей брови: а ты помнишь мать?

И ты сразу оказалась передо мной.

Помнишь, как мы ходили на рыбалку? Широкая, алмазная под Солнцем река. Июль. Отлично ловятся судаки и язи. Они сорная рыба. Сазан тоже. Мы охотимся за стерлядь. Наловим и сварим в котле, и я смотрю, как янтарный жир плавает в ухе вместе с луком и морковью, а ты крошишь картошку в котел, а потом я раскладываю вареную рыбу на лопухах, у нее сладкое мясо и мягкая хорда. Ты мне говоришь: дочка, ты гибкая, у тебя тоже вместо хребта – хорда. Ты не погибнешь. Ты выдержишь. А стерлядь же погибла? – спрашиваю я. И меня выловят. И меня сварят. И я буду молчать. Не пикну.

Не выловят, смеялась ты. Ты порвешь любую сеть, доченька. У тебя, кроме хорды, еще есть и острые, колючие шипы.

Мы ели уху, хлебали из котелка деревянными ложками. Звенел, шептал и переливался на Солнце непомерной белизной веселый песок. Речной ветер поднимал песчаные вихри. Пустые высохшие ракушки перловиц и беззубок валялись на отмели. Ты выскребала ложкой котелок, вставала и крестилась на Восток. Благодарим Тебя, Господи, что Ты дал нам сегодня пищу, хлеб и соль. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную.

Мама, я не знаю, что такое родина. Я не знаю, что такое чужбина. Эроп? Рус? Пустые слова. Я чувствую кровь. Я чувствую боль. Мне снятся странные сны. Я думаю, когда просыпаюсь, что я нагладелась пошлых картин в синема. Голова гудит. Я вижу тебя и себя на площади. Трибуны, сколоченные из досок. На них влезает люди. Орут. Размахивают руками. Тот, кто махал яростнее всех и надсаживал глотку, падает под выстрелом. Как густо стреляли тогда. Воздух звенел от пуль. Приказ в газетах: вывести на площадь тьму тьмущую человек, скопом, без разбору – и кухарок, и рабочих, и дровосеков, и мельников, и офицеров, и солдат, и половых, и купцов, и держателей ночлежек, и дворян, и публичных девок – и расстрелять. Пли! Плохо умирают. А трибуны разбирают на доски и сжигают. А потом опять возводят. И другие люди влезает на них. И орут еще громче. Это наша земля?! Наша, доченька. А нашего храма больше нет. Как нет, мама?! Так. Расстреляли. Как человека. Картечью. Пулями. Подорвали на mine. Его ноги, руки, бедная золотая голова летели в разные стороны, а из разорванного брюха сочилась кровь: киноварь, сурик, краплак. И лысый Никола-Чудотворец не мог сотворить чудо, как я его ни просила о чуде. Никола сказал мне с сочащейся кровью фрески: теперь все. Плыви одна. Я морякам и пловцам помогаю. Но волна захлестывает тебя. И ты плывешь в тот океан, куда мне, Николе, хода нет. Покрещу тебя напоследок.

Мама, гляди, художник изобразил мне на груди ожерелье. Выдумал! А все, кто поглядит на картину века спустя, будут думать, что оно и вправду было. Где же в мире правда? Где ложь? Ты была у меня – это правда. Иначе я бы не родилась. Я не знаю своего отца. Я видела на образах Бога; я видела Царя. Я летала на аэроплане, и меня любили мужчины. И еще полюбят; и еще полетаю. Но я молюсь тебе, мама, если уж Никола-Угодник отказался от меня. Прошу тебя: дай мне любовь! Дай мне большую, великую любовь! Огромную, как море! Чтобы берега жизни ее не вместили! И тогда я пойму: вот чудо. Вот оправдание.

А богатства мне не надо, мама. Его мне принесут на блюде, как дары: и золото, и смирну, и ладан, и данайские фрукты, шелка и сабли с инкрустациями и россыпи самоцветов в шкатулках эбенового дерева. На круглом серебряном блюде, где метет метель и дуют холодные ветры, принесут мне мое богатство, и вкушу я от иранской халвы, и нацеплю на запястье бирюзовый хорезмский браслет, и посмеюсь, беря в руки тяжелый золотой слиток с сидящей на нем рубиновой птичкой колибри. Богатой быть хорошо. Надежно. Богатство – кольчуга; наденешь, и

пусть в тебя стреляют. И я буду богатой. Раб вырвется из лап хозяев. Никто не посмеет кинуть меня в грязь лицом. Унизить. Но тогда, когда я буду богатой и знатной, мама, мне все это будет не нужно. Это нужно как мечта: этого нет, этого надо добиться. А зачем? Чтобы вкусить небес на земле? Чтобы знать: вот он, Эдем, и вот он, Содом?!

Мама, мама, родная... Твой нищий плат... твоя куцавейка, штопанная на локтях. Твои бедные латанные сапожки, опорки. Твои холщовые юбки, чисто постиранные, высушенные на Солнце. На морозе белье становится колом. Я пью синее вино неба, запрокинув голову. Закусываю золотым хлебом – слепящим караваем, торчащим в печи зенита. А ты выносишь и выносишь во двор тазы с бельем, развешиваешь на растянутых меж столбов веревках, и бязь и холст тут же схватывает мороз, и руки твои красны, как соленые помидоры из бочки – их ты добудешь из погреба в Рождество, на Святки, когда сплетишь в косичку жалкие гроши, наскребешь по сусекам муки и испечешь пироги – с вязигой, с грибами, с мясом и с яблочным вареньем. Сколько яблок в нашем саду! Нынче урожайный год. Ты накатала их в погреб горы. Разрезанные на дольки яблоки висят на нитках в доме и сохнут. Ты будешь варить из них компот, варенье, грызть долгой зимой просто так, как недостижимые конфетки. Конфетки, мама, это для богатых. А мы и яблочками пробавимся.

Горбун отбежал от холста, бросался к Мадлен, погружал лицо в ее расцветший лилией живот. Утро брезжило за нематыми стеклами мансарды. Картина была почти закончена. На подушках лежала она, царица. Шелка, ярко-синие и нежно-голубые, спускались с края кровати, обнимая ее ноги, на пол. Туфельки, расшитые золотом, небрежно брошены на ковре. Одной рукой царица поддерживает голову, другую протягивает над снегом простыней, на ее указательном пальце сидит птичка колибри. Груды налитые, молодые: дынно-желтые, веселые, с торчащими ягодными сосками. Голубые тени теснятся в ложбинках. Ключицы отсвечивают перламутром. На ключицах, груди, животе лежит, вивясь, длинная нить ожерелья из отборного тропического жемчуга. Он нежно мерцает в полумраке царской спальни. Царица устала. Она отдыхает. Художник подсмотрел миг забытья: любовник только что ушел, и царица грезит, предаваясь мечтам о том, что было и что повторится.

Или не повторится никогда.

Синие глаза широко распахнуты. В них нельзя глядеть – голова закружится. Не заглядывай слишком глубоко, любопытный. Там, на дне, – страдание и мрак; беднота и ужас; рабство и позор. Этого никто не должен видеть. Об этом знать запрещено. Ее память – ожерелье. Сколько жемчужин на нити – столько мучений она претерпела.

И пристально глядит из сердцевины живота черно-синий, зловеющий Третий Глаз. Он не мигает. Пупок – его зрачок. Тагуированные ресницы загнуты кверху. Глаз видит все. Глаз зрит Прошлое, Настоящее и Будущее. От него не скроется ничто. Он пронзает насквозь толщу мира.

И губы в улыбке слегка дрожат. Многажды целованные губы. Они ничего не сказали миру. Они только улыбались. А мир за одни эти губы сделал ее царицей.

– Горбун...

Она стояла у холста. Ее губы повторяли улыбку царственной женщины на портрете.

– Как ты так смог?

Он стоял рядом с ней, ростом ей по пуп. Пожал узкими вдавленными плечиками. Скрипуче рассмеялся.

– Я смог так потому, что любил тебя в эту ночь. Ты сама написала свой портрет. Я не мог иначе. Ты приказывала мне. Всем телом. Всем сердцем.

– Ты растер мое сердце в краску?...

– Да. Такой я жестокий. Видишь, получилось недурно.

– Ты отправишь картину на выставку?

– Да.

– Чтобы ее купили? Чтобы она принадлежала чужому?

– Это уже мое дело, продавать или нет.

Она молчала. Подняла руку, провела пальцем по сырому масляному мазку над бровью.

– Вот здесь морщина, – прошептала. – И еще одна. И еще. Убери. Я хочу долго быть молодой. Я хочу не умереть никогда.

– Ты боишься смерти? – спросил горбатый художник насмешливо. Она обдала его холодным огнем глаз.

Он взял ее руку, поцеловал ее ладонь, пястье, положил себе на лицо, вдыхая запах, и так стоял минуту, две. Она не отнимала руки. За окном шуршали шины авто. День начинался.

– Не бойся, – сказал он. – То, что люди называют смертью, совсем не то, что происходит с ними на самом деле. Мы, художники, это знаем.

Он опустился на колени и поцеловал ее в живот. В широко раскрытый Третий Глаз. В средоточие страсти; в купину огненно-золотых волос, что он час назад живописал нежной и яростной кистью, ударяя по холсту, чертыхаясь, кусая губы до крови.

– Я писал тебя языком, кулаками, шеей, животом, локтями, лодыжками, – прошептал горбун. – Я писал тебя горбом. Ты целовала меня. Я заработал тебя своим горбом. Я отработал тебя. Иди. Ищи своего богача. Он покажет тебе алмазные люстры. Персидские ковры. Изумрудные подвески. Но он не покажет тебе ни мира, ни войны, ни любви, ни Бога. Ты знаешь о том, что он тебя убьет?

– Что ты болтаешь? – вскинулась Мадлен. – Давай лучше я его убью!

– Правду говорю, – сказал художник мрачно. – Сердце мне говорит. Знаю. Разрешаешь мне оставить портрет у себя?

Мадлен задумчиво оделась. Забавное приключение. Когда она дремала в перерыве между ласками, а он, как бешеный, писал ее, не успевая выжимать из тюбиков краски на палитру, слизывал языком, как собака, ненужные мазки, ей привиделась женщина... вроде бы ее мать. Мать стояла рядом с ней в тулупе, держала в кулаке вареную горячую картошку, посыпанную крошенным зеленым луком и перцем, протягивала ей. Ешь, доченька!.. Небось голодна. Не кормят тебя в Пари-то. Из какой жизни пришел сон? Сны не нужны. Нужна жизнь – живая, яркая, полная борьбы и побед. Она победит. Она щедрая. Она радостная и молодая. Она подарит себя художнику, чтобы он помнил о ней.

– Оставь себе, – кивнула. – На что он мне? Все равно мадам отберет. И повесит себе в приемную. А мне натянет нос. Прощай, маэстро! Ты великий любовник. И художник будь здоров. Живи. Если вдруг увидишь меня на дороге жизни – помолись за меня.

Она сбежала по щербатой лестнице. Стоя во дворе, заплыванном шелухой семечек и заваленном пустыми бутылками, меж спящих на Солнце кошек и собак, бросила последний взгляд на мансарду.

Стекла окон мансарды сияли в лучах утра, как алтарный складень.

Она перекрестилась и побежала. Короткая юбка била ее по бедрам.

Граф недолго дулся на нее из-за приключения в Красной Мельнице. Не прошло и трех дней, как он заявился снова – с огромным букетом роз, из-за цветов не было видно, кто это. Он протасился с букетом мимо всех будuarов и ввалился к Мадлен.

Кази и Риффи, сидевшие за столом и потягивавшие из рюмочек старый душистый коньяк, завизжали и разбежались.

– Цветочная голова!.. Цветочная голова!.

Мадлен защелкнула замок и повернулась к цветочной копне.

Ударил по букету, цветы рассыпались по полу, зацеплялись шипами за ее волосы, кружева пеньюара, застревали за низко открытым корсажем.

– Какая прелесть! – притворно-восторженно протянула Мадлен, потрясла головой. Роза свалилась на паркет, выскользнув из-за ее уха. – Как мило с твоей стороны!

– Мадлен, – сказал граф хрипло и схватил ее за плечи. – Ты шлюха.

– Ну да, шлюха, – сказала Мадлен весело. – А ты и не знал?

– Мадлен, не делай так больше никогда.

– Как знать.

– Мадлен, пойдем кататься на парходиках по Зеленоглазой. Я купил два билета.

– Мадам не отпустит. Сегодня ожидается много гостей. Будет бешеная ночь.

– К черту мадам! – завопил он. – Ты можешь послать мадам к черту!

– Могу, – радостно согласилась она.

Они предались любви прямо на паркете, на рассыпанных цветах, и шипы вонзались им в лодыжки, в ягодицы, в подмышки, в лопатки. Он засунул цветок ей в лоно. Обвил розами темя. Она целовала его розой, нежно глядя цветком в тайных местах, и он содрогался всем телом и кричал шепотом: «Роза моя, роза!..» – царапала шипами горящую красной кровью, натянутую, готовую лопнуть от напора горького сока кожу. В дверь Мадлен ломилась. Требовали ее визгливо и настойчиво к мадам. Она молчала. Увядающие розы пахли одуряюще. Любовники уснули на паркете, среди роз, крепко обняв друг друга.

Когда выспались – выпили вина, закусили ломтями ананаса, оделись в мгновение ока и исчезли. Сгущались сумерки, Веселый Дом наполнялся народом, жаждущим страсти, и им удалось исчезнуть незаметно, и Зеленоглазая ждала их, и фонари горели на набережной и на маленькой, увитой листьями винограда пристани, и кораблики и лодки качались, отражаясь в черной масляной воде, и на мачтах тоже горели фонарики и плясали и прыгали на смоляной водной глади, ах, переливается масло, черное вино, оно на радость нам дано, давай ступим на корабль и уплывем. Так, чтобы больше не вернуться.

Пристань качалась под их ногами. Они сбежали по трапу на палубу крохотного катерка, обвешанного флагами, гирляндами бумажных цветов, фонарями, сделанными из папиросной бумаги. Внутри фонариков горели лампы, похожие на цветные желуди. «Гляди, Куто, лампы», – сказала Мадлен и вздрогнула. Кровь вышептала ей, поднявшись по жилам к сердцу: лампы, лампы в темном храме, и пахнет медом и воском, и ты стоишь у Спаса Нерукотворного. Что тебе лезет в голову, кокотка! Смотри не оступись, не упавши с палубы в воду. Твой граф умеет плавать?

Кораблик отчалил, чихая и пыхтя, побежал вперед, на север, к близкому морю, по течению ночной реки. Флажки трепал ветер. На палубе располагалась за картонными столиками публика: кто пел, подыгрывая себе на банджо и испанских гитарах, кто резался в карты, и в лунном свете блестела засаленная колода, как смалец. Девушки и юноши, сгрудившись под навесом, играли в «бутылку». Против кого направлялись горлышко и днище прекратившей верченье бутылки, те, краснея и потупясь, направлялись друг к другу под визги, хохотки и улюлюканье приятелей. Они должны были целоваться.

Они и целовались – страстно, неуклюже, долго, так долго, что из публики кричали: «А не пора ли и честь знать!.. Следующий кон!.. Становись в круг!..»

– Как прекрасно плыть по реке, – пробормотал граф, склоняясь к уху Мадлен.

– Да, – рассеянно согласилась она, не отрывая взгляда от маслянисто, тяжело переливающейся воды.

Броситься в эту воду. Если будет очень тяжело.

А ты разве слабая?

А кто сказал тебе, что ты сильная?

У судна есть капитан. Вот он ведет маленький кораблик, и флажки радостно болтаются, бьются по ветру. Кто ведет ее? Зачем ей снятся все время, когда она отдыхает от ненавистных и любимых объятий, зимние сны, огромные храмы на белых площадях с золотыми куполами,

сугробы, блины с икрой на Масленицу, Солнце в полнеба, и лучи, как пальцы, путаются в заиндевелых седых волосах берез? Зачем ей снится колокольный звон? Красный звон... малиновый звон... венчают на царство... эй, слышь, Ерошка, а ведь это нашего Царя венчают нынче на царство!.. как не слышать, Скула, наконец-то и на нашей улице праздник...

– У нас пекут блины на Масленицу, Куто?

– У нас их и без Масленицы пекут. В деревнях. Крестьянки. Тебе захотелось блинов? Мы вмиг это устроим. Здесь, на катере, есть повар. Мы закажем ему.

– Не утруждайся. Я просто так спросила. А... что за имя такое... Е-рош-ка?...

– Что тебе лезет в голову, Мадлен!

– Так... приснилось...

– Ты не высыпаясь. Тебя мучат кошмары.

Его лицо перекошилось от ревности. Мужики, что мнут и валяют, и катают, и щиплют ее тело каждую ночь, когда его нет рядом с ней. Кораблик резал темную водную гладь. По берегам мелькали огни предместий. Пары уходил во тьму. Распахивались безлюдные берега, оставались позади мосты, узкие улочки, каменные набережные, громады домов, царапающих крышами небеса, звезды, тучи. Расстилалась земля. Чужая земля.

Зачем тебе, Мадлен, чужая земля?

– А разве она мне чужая? – спросила она вслух. Граф вздрогнул и обернул к ней сердитое лицо.

– Хватит бредней! Ты утомилась сверх меры. Все. Баста. Я выкупаю тебя у мадам.

– Насовсем? – прищурилась она. Ветер отдувал со лба и щек ее волосы. Ее лицо стало открытым и незащищенным, скуластым по-крестьянски. Он увидел, какой бычий, упрямый у нее лоб. Эта добьется своего. Всего, что хочет. Если захочет.

– На три дня. Я дам тебе три дня свободы.

– Свободы, Куто? – Она горько усмехнулась. Вытащила из сумки сигарету, закурила.

– Ты куришь? Я не знал.

– Иногда. Чтобы успокоиться.

– Пей лучше коньяк.

– Тогда я сопьюсь. Обычная история. Любительница абсента. Ты найдешь меня где-нибудь в таверне Гавра, в притоне Марселя, с матросами, за бильярдным столом, в дешевом трактире, с бутылкой и кружкой, и никакой закуски. Я вытаращу на тебя осовелые глаза и закричу: «А-а, вот и наш графчик!.. Графчик, графчик!.. Жирафчик!..» И возьму бутылку за горло, и ка-ак брошу в тебя! И она разобьется вдребезги... а ведь абсента в ней еще много недопитого!.. жалко...

– Фантазии у тебя исключительные. Накинь манто. Я взял специально для тебя.

Он вынул из дорожной сумки красивое норковое манто. мех драгоценных зверюшек искрился в игре фонарного перекрестного света. Серо-голубые норки. О, это немыслимо. Это для знатных дам. Куда такое простой шлюхе?

– Ты спятил, Куто. – Ее глаза горели и искрились радостью и смехом. – Такой наряд в пору царице.

– А ты разве не царица?

Ее губы снова изогнулись в горькой ухмылке.

– Да. Царица Веселого Дома. Некоронованная.

– Ты моя царица.

– Я твоя рабыня, Куто. И ты это знаешь лучше меня. Пока ты мне платишь... за меня платишь, – поправила она с трудом, – я твоя. Стоит тебе уйти...

Ее губы задрожали. Он укутал ее в дорогой мех. Прижал к себе.

– Не думай ни о чем плохом. Мы же катаемся по Зеленоглазой. И сейчас нас будут кормить блинами. Эй, команда!..

Она закрыла ему рот рукой.

– Не зови никого. Я хочу побыть одна.

Кораблик развернулся и поплыл обратно. На палубе изрядно выпившие парни танцевали с девчонками деревенские танцы. Капитан время от времени давал приказ гудеть в гудок; из трубы катерка шел белесый куцый пар. Колесо вращалось и плюхало. Опять надвигался из мрака Пари – огромное чудовище, людской муравейник, кишаший ужасом и счастьем.

Высади меня на острове посреди Зеленоглазой. На знаменитом острове, с которого пошел Пари. Там старые крепости и замки. Замшелые. У камней черные и серые лица. Они глядят зажмуренными глазами. В каком веке мы живем, Куто? И живем ли? Я плясала канкан. В моей жизни было это. Теперь я могу сказать себе: в своей жизни я плясала канкан.

Я пойду одна. Не ходи за мной! Не провожай. Меня никто не убьет. Я хочу забрести в кварталы, где живет беднота, эмигранты... нищие чужаки... несчастные. Тебя так тянет к подонкам, Мадлен? Меня не тянет. Я истинно говорю вам: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому... Я исполняю предназначенное. Пусти! Не ломай руку! Она не казенная.

Ты предпочел бы, чтобы я была дешевкой... выплясывала, извиваясь, в кабинке с тусклой лампой под железным потолком, со множеством окошечек, и в оконцах мужские рожи – глаза, носы, лица, сведенные похотью, истекающие слюной рты, искусанные в кровь губы, они впи-ваются в меня, а я пляшу перед ними голяком, верчу задом, поворачиваюсь и так и сяк, – и мои равнодушные щеки набелены и нарумянены, и мои глаза чуть прикрыты тяжелыми веками: рыдай не рыдай, тебя ничто и никто не ждет, тебе умереть в каморке, свалиться на истертый твоими пятками пол, забить ногами, дернуться и застыть. А мужики все идут в ночную забега-ловку, все кидают монеты в прорезь, все пялятся, дрожа и потея, в оконца каморы. Ты хотел бы так?!.. а, вот и магазинчик. Куплю здесь булочку. Есть хочу. Это не просто магазинчик. Внутри, там... дальше... крючковатым грязным пальцем меня манит китаянка, девочка-продавщица... все та же каморка. Вхожу. И свет включается и выключается, включается и выключается. Тьма – свет. Тьма – свет. Мне истошно кричат: раздевайся! Заработаешь много монет! Я стою не шевелясь. Видала я такой заработок.

Из тьмы выбегает кабатчик. Его руки блуждают по мне, как в лесу. Женщина – лес. Жен-щина – загадка. Ева. Зачем Ева ходит в рубище? Ест из миски? Спит со зверями? Волк ког-тит ее белые плечи. Кабан испражняется ей в подол. Попугай клюет ее в темя. А она смеется. Она Ева, и за это ей все прощено. Не разгадаете. Так она и сдохнет неразгаданной, Ева, баба, поденщица страсти.

Трущобы Пари. Улочки узкие, как палец. Одинокие люди живут здесь. О чем они тос-куют? Оглянись, Мадлен. Тебя преследуют. Тень. Тень идет за тобой. За каждым идет его тень.

Везде кабатчики с липкими руками. Каморки с волчьим фонарем под потолком. Черная комната. Красная комната. Свет – тьма. Тьма – свет.

Эй, откройте! Кто тут живет!.. А ты кого ищешь, блудница?... Вы священник?... Святой отец, заблудшая овца. Поймать тебе машину, чтобы ты убралась отсюда ко всем... Ой, свя-той отец, разве можно так сквернословить!.. Да еще в пост... Ешьте красную рыбку!.. Пейте водочку... И ты тоже из страны Рус?!.. Что это за страна?... Не морочь мне голову, девчонка, ты из Полянска или из Древлянска?... там такие скуластые, как ты, синеглазые... Разденься... Я сравню тебя с породистой лошадью. О, святой отец, вы молоды. Вы сгубили себя. Смотрите, вот мы голые, и лампа заливаает нас то красным, то синим светом, и наши тени на стенах, на коврах дрожат, слившись, и качаются, и я переворачиваюсь то на спину, то сажусь на тебя вер-хом, то вздергиваю ноги к небу, а ты играешь с моими щиколотками, с моими бедрами, с моим овечьим руном, с моей морской раковиной. Тени! Мы лишь тени, отец! Мы человечьи тени,

овечьи... вечные свечи... горим, тлеем, гаснем. Никто о нас не вспомнит. Никто не зажжет вновь.

Здесь живет много беглых из земли Рус. Пленников. Данников. Странников. Они прибрали сюда, в Пари, в поисках пищи. Иные из них женились на местных. Эроп всех вобрала, втянула, как рот – ягоду из варенья. Стучусь. Грязная дверь. Открывают. О, какая дама!.. В наш-то вертеп!.. Как вы решились... сюда?... в логово... в смрад... Мы плохо говорим по-эропски... дочка каждый вечер выходит на панель... а вы, должно быть, графиня... на вас манто... оно стоит много тысяч монет... подайте нам, Христа ради! Ведь вы, эропцы, тоже верите в Христа... Держи. Держи. Все. Все, что у меня есть. О!.. вы с ума сошли... нам и не снилось... Я люблю тебя, старик. Не плачь. Я запомню, где ты живешь. Я приду еще. Я подарю твоей дочери шубу. Манто из голубых норок.

Мех в слезах. Слезы висят на ворсе алмазами. Это красиво. Поднимаюсь по лестнице. Ступени скрипят. Стук. Откройте! Это молочница?... Да, это молочница. Я принесла вам чудесного молока. Жирного, желтого, сладких сливок, топленого в высоких глиняных крынках. С корочкой. Только из печи. Ах!.. Вы бредите. Да, у меня жар. Как вы бедно живете. Святое Семейство. В люльке – младенец. Почему он не орет? Сыт? Не верю. Вы заткнули ему рот грязной тряпкой, потому что пришла дама. Я не дама. Я Мадлен. Напоите меня чаем с кренделями. Расскажите мне про землю Рус. Да что!.. нам бы на завтра денег заработать. Муж пошел на ночной извоз, я стерегу сон детей... варю суп из костей... Из костей. И вкусный? Я бы угостила вас щами, дама. Это для вас экзотика. Да у меня нынче мяса нет. Мы давно из Рус. Как там люди живут?... Да всяко. Как обычно. Войны, драки... передел земли... расстрелы тысячами... дети с ножами за пазухой бегают... Там капуста растет на огородах. Скрип двери. Входит. Глядит. Внутрь. Вглубь. На стол летит бумажка, на ней портрет великого человека Эроп – не помню, кого. Идем. Со мной. Здесь рядом комната. Ты привяжешь меня цепями к кровати. Так, как Воспитатель привязывал меня в Черной комнате?... Да. Так. И возьмешь в руки железный крюк. И плетть. И насадишь меня на себя, как варежку на замерзшую ладонь. Я молюсь Богу: подольше, подольше. А ты будешь жестока. Хлестай меня плетью. Всаживай в меня крюк. В бедро; в живот. Порву пути! Выпусти меня! Мне больно! Ты бесконечно истязашь меня! Ты так любишь меня! Я так хочу любви! Так хочу! Хочу! Хочу! Так! Так! Так!

А где земля Рус? Нет земли Рус. Нет такой страны на карте. В пространстве – нет.

И ты мне про нее ничего не сможешь рассказать.

Мой ход по трущобам Пари. Мой ход по трущобам чужбины. Я в дорогом манто, но это бутафория, родные. Скажите мне слово на языке Рус. Яб-ло-ко... мо-ло-ко... да-ле-ко... не-бо... ре-ка... А как будет «любовь»?... Так и будет: любовь. Зачем мне жизнь, если нету родины? Затем, чтобы жить на новой земле. Зачем жизнь без любви? Низачем. Без любви нечего и пытаться жить. Ты думаешь, что ты живешь. А на самом деле...

Бедняки! Стойте! Погодите! Возьмите меня к себе. Я буду вам варить обед. Я буду зарабатывать на панели. Чистить вам рваную обувь. Молиться у ваших самодельных икон. Сгибать проволоку для дужек очков. Писать в книгах на чистых листах странные закорючки и розаны ваших звучных, как удар колокола, слов. Рус! Люди Рус! Не прогоняйте меня!.. Гляди-ка, Ваня, баба пьяная. Кокоточка. Упилась в стельку. Гулящая. Сейчас хлопот с ней не оберешься. Такси ей лови. От обморока откачивай. И что ревет?... Брошку, что ли, дорогую с груди потеряла?... Или девичью честь?... Сдерни-ка с нее парик – у нее волосы наверняка стриженные, черная челка, это она нарочно под блонде выкрасилась, чтоб для мужиков быть помедовее... посмазливее... Не сдергивается!.. Убери лапы. Она ударила меня!.. Проваливай. В спину наддай ей. С лестницы скатится. Не бейте ее, дурни!.. Она дала мне сто монет!.. Брось их в лужу. Они, клянусь, фальшивые. Катись отсюда, кучерявка, дорожку забудь!.. Счастливый путь...

Их руки потрескались от соды. Пальцы устали мыть лестницы и окна. Глотки утомились выкрикивать глаголы на уроках. Ноги утопались ходить: то корзину с углем взвалить на спину

и бежать – печи надо протапливать в холода, то мешок с подгнившей капустой и морковь – они на рынке дешевы, а варить щи-борщи надо. Самая выгодная еда. Наваришь на три дня, спустишь в погреб... Их глаза глядят на меня затравленно. Что нужно блестящей даме? Мое платье с низким вырезом, нитка жемчуга, свисающая с груди почти до полу, пугают их. Я показываю им иконку. Николай Чудотворец. Лысый. Седые космы волос над высоким морщинистым лысым лбом. Глаза скорбной полярной совы. Чуть косят. Нос длинный, как у кулика. И рот – птичий клюв. Ах ты, Никола, птица ты заморская. Люди Рус молятся тебе страстнее, чем Богу Христу. Я ему тоже молюсь. Ты нам Николая даришь?... Я вам говорю: он и мой тоже. Стибрила иконку в нашешском храме!.. Слямзила!.. А теперь хвастаешься!.. у, красивое рыло... пошла вон!..

Гонят. Отовсюду гонят. Тебе, граф, этого не понять. Чужбина. Давать дешевые уроки. Стирать на богатых теток, берегущих выхолненные ручонки. Тащить корзины с бельем. Низать бусы на суровые нитки. Изготавливать бархатные шляпки. Вертеть поддельные цветы – розы, тюльпаны, гиацинты – из лоскутов, бумаги, нитяных махров. Водить по городу машину, подбирая прохожих, сшибая здесь, там монету за извоз.

И стоять на панели – на пронизывающем тугом ветру, под густо идущим, падающим, как саван, снегом, под хлесткими струями дождя, под палящим Солнцем, рисующим узор пустыни на голой спине, под россыпью звезд – они сыплются из черной корзины ночного неба, а ты все стоишь и стоишь.

И никто не узнает, как ты ела в Рус пирог с капустой, как хлебала щи лаптями.

Все будут думать, что ты бедная и нескладная девчонка черепаших трущоб изъеденной временем Вавилонской башни Пари. Пари, Пари, нас только три – Кази, Риффи, Мадлен!.. Нас взяли в плен, и нас взамен ничто ты не бери...

Я иду, шатаюсь, по обочине. Мимо шуршат авто. Катите, сволочи, своей дорогой. Они выгнали меня. Меня. Родную. Беднячку. Рабыню. Дуру. Я могу вернуться только в Дом. К мадам. Ох, она и будет рада. Сначала избьет меня, как водится. Если девочки ведут себя плохо – отлучаются надолго, слоняются по Пари без дела, заводят себе любовников, тратят заработанные деньги бестолково – она бьет их. Она бьет нас недуром, чем попало. Что под руку подвернется. Стулом, линейкой, палкой, бельевой веревкой. Ремнем от старой хозяйственной сумки. Рамой, пустым, без картины, багетом. Кулаком. Может зубы разбить. Как мужик. После побоев с неделю девчонка не может выйти и показаться гостям.

Как звенят тонкие колокольчики в дождливом мареве. Дождь идет. Нежный, тончайший летний дождь. Он печален. Он течет по моим щекам. Аллилуйя. Аллилуйя.

Она долго ковырялась ключом в замке. Кази не откликнулась. Никого нет. Принять ванну. Вылить на себя, стоя в тазу, ледяную воду из кувшина. Все же жить здесь можно. Не то, что в Красной Мельнице. И пододеяльник с кружевами. И на столе всегда валяется еда. Вечный праздник. Она села перед зеркалом и уставилась в ледяное пространство большими, чернотой налитыми в ночи, внимательными глазами. Черные круги обняли веки. Это бессонница. Сколько ночей уже она не спит?... Две, три... пять... восемь?...

В доски двери заскреблись мышинными коготками. Это Кази. Ее почерк.

– Отворено. Кази? Ты?...

Да, это была Кази. С закушенным ртом. С перекошенным лицом. В разорванной надвое ночной рубахе. Она придерживала себя за кружево, чтобы рубаха не сползла и не упала на пол. Мелко дрожала. Крестилась. Белые губы. Звон зубов.

– Что, Кази?!.. Ложись. Падай! Сюда!

Мадлен набрала в рот воды из графина и дунула, разбрызгивая, в лицо Кази.

– Они... они!..

– Кто?! Говори!

Кази хватала Мадлен за руки и тряслась. Мадлен силком влила ей в рот чашку горячего глинтвейна. Глинтвейн, сваренный недавно, терпеливо ждал своей участи в кастрюле, накрытый железной крышкой и шалью сверху, чтоб не остыл. Кардамон, корица, гвоздичный корень, цедра плавали в горячем красном вине, источающем пар и жар. Его сварила сама Кази, дожидаясь Мадлен, на спиртовке.

– Кто тебя обидел?! Правду говори!

– Они... это страшно... я не могу... язык... они запретили... они пригрозили мне, если я скажу про них... то мне вырвут...

Кази с ужасом показала на свой язык, высунув его, как собачонка. Мадлен особо не спрашивала подругу. Небось, распяли да привязали, да батогами секли... жирные рожи... увеселялись... а потом, чтобы разжечь угасающее желание, взорвать себя, бессильных, заново, прибегли к испытанному опьянению – к страху. Кази вывернуло наизнанку от страха. Она тряслась, как в пляске. Черные, копной, волосы ее прыгали по спине, как змеи. Мадлен убрала за ней извергнутое. Погладила ее по мокрому лбу. Уложила в кровать. Намочила полотенце, обернула, сложенное вдвое, вокруг головы Кази, как венок из одуванчиков.

– Лежи пока. Очнись. Тебе привиделось. Мы помногу не спим. Они... настоящие?...

– Как ты, Мадлен, – заплакала Кази, сморщась. – Что они делали со мной... и человек это переживет... как я вырвалась... не помню... кажется, в дверь постучали... они исчезли, по водосточной трубе...

– Так это были не гости? – дошло до Мадлен. Кази отчаянно затрясла головой.

– Нет! Нет! Не гости! Это были... ох... не могу...

Она зажала себе рот рукой. Мадлен приблизила ухо к ее рту.

– Пойдем ко мне... туда, где они были... – как в бреду, забормотала Кази. – Они там... они спрятались... поджидают меня... они хотят моей крови... моих костей... моего мяса... моей души... Мадлен... не оставляй меня... будь со мной... мне страшно...

Мадлен подхватила подругу.

– Идем туда! К тебе! Это гости издеваются над тобой! Я взорву этот Дом! С мадам вместе!

Она подхватила Кази под мышки, поволокла. Шаг, другой. Я не пойду! Пойдешь. Ты покажешь мне свой страх. Не могу! Я не могу их видеть! Они и с тобой сделают так же... Не бойся. Я крепкая. Я сработана из железа, стали и алмазов. Мне самой надоело. Хоть бы кто-нибудь меня сломал. Замолчи! Не накликай на себя беду!.. Иди. Иди. Переступай ножками.

Когда они дошли до номера Кази, она затряслась как припадочная.

– Не открою дверь! Мы погибнем!

Мадлен, поморщась, резко, нагло рванула дверь на себя.

В будуаре было темно и тихо. Лампы не горели; погасшие свечи источали сладкий запах нагара. Мадлен шагнула в комнату, и под ее ногой захрустело битое стекло. Кто-то, бесчинствовавший здесь, разбил лампы, вазы, кувшины, стаканы. Девушки, осторожно ступая, вошли в сердцевину тьмы; Мадлен крепко держала за локоть трясущуюся, захлебывающуюся плачем Кази. Никого не было. Хрустальные ягоды разбившейся люстры лежали на полу. Под потолком метался огрызок цепи. Канделябры валялись, как дохлые рыбы.

– Где твой страх, Кази?

Молчание. Единственная жилка бьется на виске. Тьма дрожит над головой. Во тьме над затылком Мадлен разлилось призрачное сияние. Кази застывшими глазами глядела вокруг. Озиралась. Взбросила взгляд на Мадлен. Прижала руку ко рту.

– Ой, Мадлен!.. Корона над твоей головой!.. Золотые зубцы...

Мадлен схватила Кази за холодную дрожащую лапку.

– Что ты еще видишь?!.. говори...

– Вижу... вижу тебя в царской мантии... за тобой идут адъютанты, фрейлины... офицеры в золотых пышных эполетах... две веселых девочки несут длинный шлейф... поддерживают

его... красный бархат, горностаи... толстый мужик в военном мундире, одышливый, задыхается... ковыляет следом за тобой, держит в руке над твоей головой золотой венец...

– Какой венец?...

– Похожий на золотой цветок... корону... наверху крест, а в нем горит красный гладкий камень... шпинель... или рубин... люди идут за тобой, а ты ступаешь гордо... радостно... грудь твоя открыта, обнажена, алмазные нити оплетают шею... народ клубится, толпится... огромные люстры нависают над толпой... ты направляешься к постаменту, красный ковер устилает ступени... стоит священник... ты поднимаешься по ступеням... старики, усатые, сумрачные, торжественно стоят перед тобой... один старик держит на алой бархатной подушечке золотую палку с набалдашником... другой старик тоже прижимает к груди подушечку, и на ней лежит золотой шар с вензелями и крестом... как не упадет... рядом стоят лакеи, скороходы со страусовыми перьями на шляпах... мужики в кафтанах, в расшитых золотом камзолах... егери с кинжалами за поясом... позументы блестят... а старый священник с белой бородой, кто это?!.. тебе протягивают корону, ты берешь ее и целуешь... надеваешь на себя... наталкиваешь себе на лоб... берешь с красных подушек золотую палку и золотой шар, кланяешься на четыре стороны и садишься в великолепное кресло... это трон!.. с высокой резной спинкой, с подлокотниками из черного и красного дерева... драгоценные камни горят в его изогнутых ножках, как глаза львов... священник взмахивает таким медным большим яйцом, привязанным к железной цепи, взмахивает им... из яйца идет дым... пахнет горячими сладкими травами... хор... поет хор... он поет в небесах... высоко в небесах... я не вижу его... я не вижу!..

Мадлен держала Кази изо всех сил. Она билась в ее руках, как подранок. Кошачий бантик, завязанный у нее на шее для пущей красоты, сбился, развязался. Волосы нефтяными потоками лились вдоль ввалившихся щек. Видение, что она толковала Мадлен, выжимало и выкручивало ее, как тряпку. Выматывало. Слепило. Она жмурилась, как от яркого пытального света. Под ногами хрустели осколки.

– Они говорят на непонятном языке... они обступают тебя... поздравляют тебя... целуют тебя... становятся на колени перед тронном, где ты сидишь, и касаются губами твоих бархатных одежд... длинной алой мантии, подбитой горностаем... они тянут к тебе руки... в их глазах восторг, любовь и слезы... и ты, сидя на троне... ты плачешь вместе с ними... а твои синие глаза сияют великим счастьем... равного которому нет на земле... и даже любовь... даже любовь...

Она задохнулась. Повисла на руках у Мадлен. Зарыдала.

– ... даже любовь, мы о ней так грезим... мы не знаем ее...

Мадлен подтащила Кази к дивану. Стряхнула ладонью битые стекла. Нежно опустила дергающееся, худенькое тельце на заскрипевшие пружины.

– Ляг... Ты вся дрожишь... Произошло важное... Молчи... Мы обе не понимаем, что...

Она вцепилась Кази в плечи. Сунулась лицом к ее бледному как рис лицу.

– Они говорили на языке земли Рус?... Скажи... они кричали так: славься... славься?!..

Кази, изнемогая, кивнула головой. Она согласилась бы сейчас с чем угодно. Со всем на свете. Рус так Рус. Все равно.

Они обе услышали, как внизу, в комнатенке Риффи, пробили часы полночь, и тут же раздался визг, ввинтился вверх, надрывая душу, и оборвался на высокой, немислимой ноте.

*Несите за мной порфиру. Бесчисленным золотом вспыхивают купола церквей. Золотые чечевицы, горошины, зерна, маковки; алые и медные яблоки, винно-желтые дыни, зеленые полосатые тыквы, наверхенные вокруг всевидящего чела чалмы. Огонь куполов! Лбы и затылки куполов! Церкви земли Рус – это люди. Воины. Они из-под шлемов видят все. Видят, кто нападает на землю, кто грабит ее, разворовывает, убивает. Они стоят спокойно. Незыблемо. Они следят. Их глаза слепы. Они все видят сердцами: колоколами, бьющимися внутри, среди мощных каменных и железных ребер, под белыми грудями, под кольчугами апсид и фре-*

сок. Тащите порфиру, она играет на Солнце, она оттягивает вам руки. Тяжело?! Мне не легче. Что значит быть Царицей?! Царицей земли Рус... Купола, вы же юродивые! Вы же с ума сошли Христа ради. Вы можете плясать и веселиться, да вам нельзя. Так и плятесь вы в синее небо. И ты, храм, выстроен в честь одного безумца, его в Рус звали просто: Васька Блаженный. Ну ты, Васька, горазд ты милостыньку собирать. Протяни худую грязную руку, собери и мне, своей Царице. Я же бедна, как церковная мышь. Я живу на чужих кухнях. Ночую в номерах. В ночлежках. Я устала балакать по-иностранному. Только наймись на работу – тут же гонят. Чужачка! Платят мало. Я им говорю: я Царица, Царица я, слышите. Это я вам должна платить, а не вы мне, жалкие смерды. Хохочут. Пихают в спину: прочь отсюда. Глумятся. А утро раннее. А хлеба хочется. А горячего чаю, кофе просит пересошенная глотка. Может, абсента?... Можно и глотнуть. Я не против. Золотые косы мои загрязнились, голову я давно не мыла. Ах. Какое шествие. Ни в сказке сказать. Порфиру по пыли не тащите: ее расшивали лучшие золотошвейки монастырей Рус. Конвой в черкесках. Мне ведут коня. Я не могу вспрыгнуть на коня! Нет, Царица, можешь. Ты достойна ехать на белом коне, вслед за своим Царем. А где мой Царь?... я не вижу его... я не вижу... Видеть тебе необязательно. Раздуй ноздри. Слышишь запах еля? Восточных благовоний?... Курильницы... кадило в руках батюшки... Батюшка митрополит, не взмахивай кадилом столь сильно, ненароком мне по лбу попадешь. Царский лоб разобьешь. А ведь его для короны еще сберечь надобно.

Четыре генерала несут мою порфиру. Корона готова?! Она в руках патриарха. Расчешу его серебряную бороду после. Потом, когда сядем за стол, и он разрежет фамильным ножичком бок осетра надвое: возьмет на лопаточку и мне протянет, мне, своей Царице. А я выну из кармана гребешок, каким хвосты у коней расчесывают, железный хищный гребень, и запищу зубья в патриархову бороду. И ну давай чесать. Все засмеются! Смейтесь, родные народы, смейся, любимая челядь моя! Под крики «ура» мы входим в собор. Солнце заливает меня с ног до головы. Внутри собора – Солнце. Как?! Солнце – внутри?!.. Да. Взгляни, девочка. Оно на фреске. Оно нарисовано. Лучи, как воинские копья и пики, торчат в разные стороны, летят прочь от слепящего золотого лица. Я не могу поглядеть на Солнце, и на мое лицо тоже никто не может смотреть. Ах, патриарх! Держи корону, держи крепко, не выпускай. Она упадет, покатится, завалится на дрова, за коряги, за лысины отмелей, за телеги и вилы, за лопаты и грабли, за кладбищенские комья земли, за сугробы и метели, за копну звезд небесных, сгруженных в кучу, расшвырянных по черному смертному полю. И красный прозрачный бульжаник Индийской Шпинели отломится, отлетит, закатится между половиц, где живет одинокий сверчок. И я буду наклоняться, шарить вслепую дрожащими пальцами, плакать; лягу на живот, забуду ногами, заткну отчаянные руки в поленницу, между распиленных пней, в горящую печь, в зев могилы. Где драгоценность моя?! Где жизнь моя и любовь моя?!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.